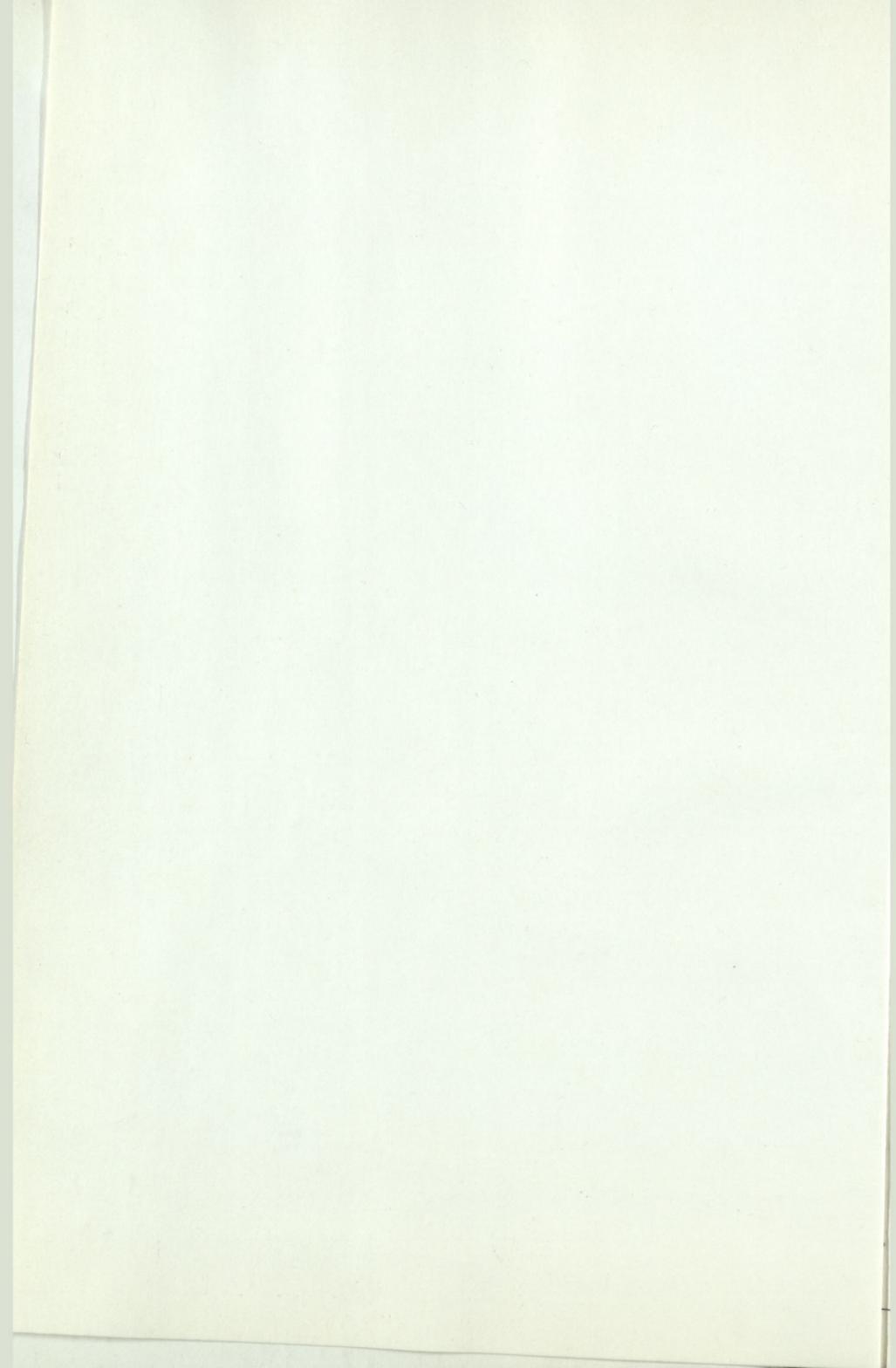


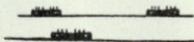
СУМЕРКИ



Ноябрь - Декабрь

Сумерки - заря, полусвет: на востоке до восхода солнца, а на западе, по закате; /вообще/ полусвет, ни свет, ни тьма; время, от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угаснутия последнего солнечного света.

/Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка/



1989

СО Д Е Р Ж А Н И Е

П О Э З И Я П Р О З А

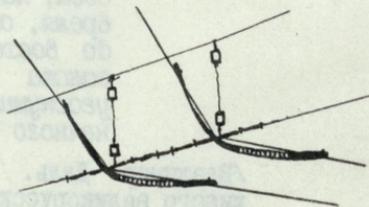
Валентин Бобрецов. 1958 /стихотворения/ 5
Алексей Недосекин. Здравствуй, мама / повесть/ 11
Юрий Галецкий. Стихотворения 30
Михаил Генделев. Из двух книг 34
Серафим Четверухин. "В тихой пристани" и другие рассказы 46
Дмитрий Григорьев. Стихотворения 60

Г Л А С Н Ы Е И С О Г Л А С Н Ы Е

Через монтажный стык. /Ан. Тарковский == Ал. Сокуров / 68
Василий Горюнов. В поисках стиля /беседа о модерне/ 76
Михаил Безродный. Об одном приёме художественного имяупотребления 94
Сергей Горлов. Из вахтенного журнала 136

Э Т А Ж Е Р К А

"Мне только тридцать лет, а когда я оглядываюсь назад..."	
Михаил Арцыбашев. Смерть Башкина 105
Василий Башкин. Свой брат 109
Из архива Евгения Иванова 124
" НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ..." 148
Виды места любви и отчаянья
В О О К С Т А Н Д 163
Борис Хазанов. Час короля



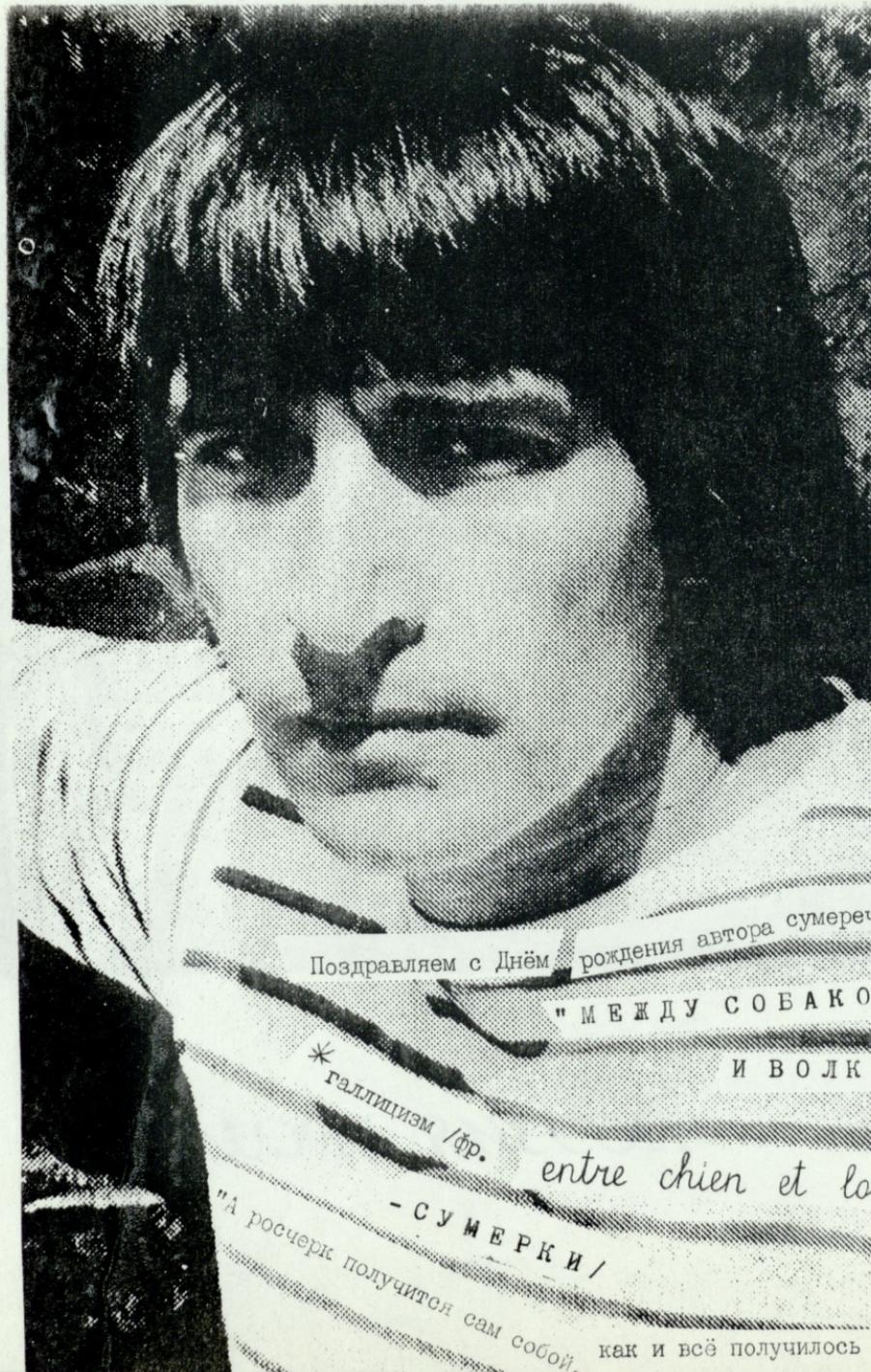
№ 7
1989

1

8891



ПОЭЗИЯ ПРОЗА



Поздравляем с Днём рождения автора сумерек

"МЕЖДУ СОБАКО

И ВОЛК

* галлицизм /фр.

entre chien et la

- СУМЕРКИ /

"А расчерк получится сам собой,

как и всё получилось

Валентин Бобрецов

СТИХОТВОРЕНИЯ

1958

Если и мажут синяк, то зеленкой. А называют
ушибом.

Мама в мутоновой муфте и чешских румянках.
Отец,

оглушительно пахнувший "Шипром".

Чук и Гек. И загадочные Гэс и Тэц.

Как воспитанный мальчик, спасибо скажи,
если дядя на улице вдруг угостил барбариской.

Но конфету не ешь, а в карман положи.

А как дядя уйдет, сразу выбрось ее,
зараженную язвой сибирской.

Дед в кашне и тужурке. Медуза оранжевая
абажура.

Мечта о торшере. Скрип этажерки.

Шатанья стола и анализ стула.

Розовощёкий кудрявый дядя-Лёва, мотоциклист.

И тётя-Муся, на всякий случай пьющая чагу
и что-то от глист.

Рисую про войну. Бабка зачёркивает свастику
у плавающего фашиста:

"Это нельзя рисовать!..." А когда начну
петушиться,

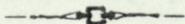
что - можно и нужно, иначе наш подобьёт
нашего, -

страдает моё ухо,

и под буги-вуги соседей отправляюсь

к бабушкиному богу, в угол...

1981



— — — — —

 — — — — —

Корабль дураков

У нас под килем семь футов дерьма
 Смешанного с костями.
 Почва тверда, но смердит весьма
 И мух привлекает — тьмь.
 На днище моллюсков метровый слой
 И водорослей лес.
 И руль, и мачты пора на слом,
 Но медные части — блеск!

Водобоязнь страдает наш
 Солёный пёс*, адмирал.
 Пьёт лишь коньяк, и весь экипаж
 Слёной своей обмарал.
 Рехнулся — подставивши под струю
 Кишечных ветров лицо,
 Он крутит, вмурованное в галюн,
 Штурвальное колес.

Буфетчица водит мичманов спать
 В набережные челны.
 Лодки трещат, не вмещаая стать
 Чудовищной величины.
 Матросы решают вопрос половой
 Посредством прямой кишки.
 Старпом строчит в журнал судовой
 Упаднические стишки.

С утра, что ни день, строевой смотр —
 Вместо выхода в Понт.
 С грязью мешаясь, капает с морд
 Нетрудовой пот...
 А дурни плывут, зачерпнув полреки

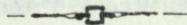
* *Salty dog* (англ.) — морской волк

Через прогнивший борт, —
 Произведя решето в черпаки,
 Спаслись от бед и забот.

Дурни плывут, покудова штиль.
 А буря — щепки летят!...
 В какие ж трубы ваши вожди
 На будущее глядят?
 А мы, — береженного Бог бережёт, —
 Уткнувшись носами в мох,
 На брезживший дуракам бережок
 Легли.

И да с нами Босх!

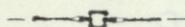
1980



Осколки, щепки да песок. И всё...
 Разбитыми песочными часами
 заведует залив. И клонит сосны в сон
 прибой, торжественный и скучный, как гексаметр.
 Поджарых чаек пара из-под ног
 взмывает. Крик почти мгновенно замер.

И снова тихо. Обнажает дно
 луна, чудовищный по силе божий поршень.
 Отлив. Пора домой. А впрочем, всё равно,
 раз времени уже не будет больше.

1977



Н.

Хохол, що бачіт світ шінка,
 плотва, сорвавшаяся с лески, -
 о день, прекраснодушный, как
 десяток Ленских... Как - Вселенский!
 Часы, а черт их поберет!
 Не сильно рвенія исполнен,
 ладонью прикрывая рот,
 раскланяюсь в исподнем с полднем.
 Ты спи. А я поплю чайку,
 и в чашке вилокю помешивая,
 четырежды - до слез - чихну
 над "Старосветскими помещиками"...

1981



Дойдя до ручки, то есть до стола,
 где правнучка булатного кинжала,
 сама поверя в то, что умерла
 (недаром кровь ее черна), лежала, -
 итак, дойдя до вечного пера,
 доставшегося, кстати, по ошибке,
 ибо судьба лишь потому добра,
 что Агасфер до пишущей машинки
 дошел - и тычет пальцем в IBM,
 как мы в грудиноу впалую бием, -
 так вот, дойдя до ручки, до одной
 из двух, предоставляющих свободу,
 в союзе с первой складываю оду
 той, до которой не дошел, - дверной.

1989



— — — — —
— — — — —

Окно венецианского покроя,
Теперь пробьют подобное навряд.
Трепещешь, тронув переплёт рукою,
как будто открываешь фолиант.

В стене, таким украшенной окном,
другое показалось бы прорехой.
А в это можно, выстроясь шеренгой,
выбрасываться — хоть вдесятером.

1981

— — — — —
— — — — —

Когда ненастье, настигая нас,
в конце концов за дверью остается,
когда огню дровами воздается,
и, дым в глаза пустив, пойдёт он в пляс.

Когда сидим меж печью и окном
втроем, считая тень и отраженье,
да слушаем поленьев треск ружейный
и плеск весла, зовущийся дождём, —

Тогда — пускай низложен самовар,
но чайник подхватил кипящий скипетр! —
пока второй стакан еще не выпит
и пламя испускает саламандр, —

отрадно, глянув за окошко в темь,
протягивать к огню живому ноги,
и полагать, что мы не одиноки.
Мы, то есть отражение и тень.

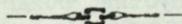
1986

Белые черные стихи

Одного цвета
 мокрый асфальт, река, небеса.
 Границы меж ними
 охраняются крайне скверно:
 старик со старухой —
 —овчаркой, впадающей в шенство,
 да несколько чаек, —
 вот и все пограничное войско.

Если свернуть с набережной не в переулок, а в воду,
 если сделать
 добрую сотню шагов по зыби речной
 и, наконец,
 выйти на небо — старик усмехнется,
 глядя, как щитится
 зубами хватить свой плешивый хвост
 сука Леди,
 а чайки метнутся инстинктивно в сторону юга.

1978



Петербург, да что вам в этом имени?
 Ветер, камень да щепоть земли.
 Не сиделось в Устюжке да Тихвине, —
 на болото черти понесли,
 чтобы тут, на вымышленном острове,
 удержавшись чудом на плаву,
 за тремя придуманными сестрами
 как молитву повторять: — в Москву!
 А потом три постаревших грации
 выйдут из нордических Афин
 коридором третьей эмиграции
 замуж в турку, но не в ту, где финн, —
 и въезжая с барственной развальцею
 в сей освобожденный бельэтаж,
 скажете: — реченное сбывается,
 и Константинополь будет наш!

1989



Алексей Недосекин

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА

Самые дерьмовые из моих дней, когда спросонья еле падаю ногами в штаны, когда муторная и липкая жажда вернуть-ся головой в подушку парализует, и намаевшаяся за ночь душа воссылает проклятье этому миру, желая ему немедленной смерти, когда бегу и набираю полные ботинки воды, а потом рискую простудиться и слечь (пожалуй, "слечь" здесь не самое точное слово), когда бочком вдоль стены пробираюсь к своему письменному столу, а прожектора взглядов Других ощупывают меня с пронизывающей холодностью, забираясь и туда, где пальцы моих мокрых ног складываются в замысловатые комби-нации, тщетно пытаюсь согреть друг друга, а потом, когда занимаю свое место в ячейке и, изобразив на лице внимание к труду, принимаюсь записывать нелепые знаки - вот дни, когда мама зовет к себе.

Сегодня такой день.

Сегодня они привезли новую Машину и переставляют столы. Полагают - это изменит что-то во всех нас. Им еще не до конца ясно, что все мы падаем в пропасть, каждый - свой век, и что скоро помрём; они ковыряются, хлопочут над только что привезенной Машинкой; я переместился работать в центр комнаты, из-за шкафа меня вытеснил Вумс (так зовут Машинку), и теперь пребываю в розе ветров; так что если будут бомбить, то уцелеть не остается никакой возможности. Вумс предназначен для глупостей, которые я уготовлю ему считать - команды, байты, счетчики, - совсем не интересно кому-либо из посторонних (хотя, кого здесь можно считать посторонним?), а тем более мне, хотя многим из них доставляет

удовольствие "общаться с машиной", — как они это называют, — после непродолжительного ковыряния с тем, что необходимо по работе, они загружают Бумс программой сбивания космических кораблей марсиан, и уже до самого обеда обугленные марсиане сотнями падают на поверхность красной планеты, и никому не приходит в голову помочь им медикаментами и продовольствием; всегда с подозрением относился к играм, ориентированным на убийство. Та киножизнь, которую все мы ведем, успешно помогает нам терять ощущение реальности, и если придется бабахать, то всякий новый труп будем воспринимать как отметку на индикаторе, как зарубку на баобабе.

Когда я жил за шкафом, я обладал правом не вглядываться в физиономии Других и не угадывать в их спокойных, добрых, чуть с хитринкой глазах готовность номер один сжать челюсти, успешное умение разгоняться на прямом участке пути, притормаживать на вираже, выскакивать из-за угла, прятаться за угол, пожимать руки, выражать соболезнования с фигой в кармане и другие навыки, необходимые для жизни в этом городе; не могу судить о других городах, но нет никаких оснований полагать, что там все иное... Когда-то, лет десять назад, дикторы любезно ухмылялись, кругом были успехи, кисельные ручьи стекали с марципановых гор, и все говорило о том, что будет еще почище прежнего. Что изменилось с тех пор? О, да.

Когда не успеваю завтракать, всю дорогу до обеденного перерыва мечта о сытости не оставляет меня, и нет места иллюзии моей полезности многообразно-сложному организму, который принято именовать обществом. Я много думал о предмете полезности моей жизни и находил, что жестко закономерное движение природы к своему естественному концу заставляет считать полезным то, что работает на ускорение прихода этого самого естественного конца, и придумывание всяких микробов и железа для новой войны тем самым полезно. Но прежнее мое воспитание, требующее любить людей (всегда, впрочем, казавшееся мне несколько надуманным и не имеющим никакой практической ценности), обязывало меня полагать, что приближение новой войны вовсе не полезно; хотя знал всегда, что гибель моего отдела, возглавляемого начальником отдела

Квостьевым, семей сотрудников отдела, моя личная гибель не внесут в картину мира качественных изменений, — и опыт недавно затонувшего парохода с полутысячей смертей, также покрытая забвением история с "Боингом" и половиной от полутысячи трупов показывает, что всякий забывает, и все позабыто, в противовес избитому тезису; факты прошлого никого ничему не учат, имеют исключительно статистический смысл и никого не волнуют, хотя многие смотрят телевизор. Разумеется, официальные циники из продажных газет и с отставных полковничьих должностей в кабинетах истории партии смущают наши неокрепшие души мечтой о счастье. Прежде они очень хорошо умели раздвигать мясо и звать на баррикады, а теперь им кажется, что у них украли фонарь. А кто украд-то? да всё то же интеллигентское говно (в ленинском понимании этого слова), которому бы совсем не помешало иногда посидеть в тюрьме недельку-другую-восьмью, ну как тому же Короленко.

Радость вот этих моих мыслей идет вперебивку с ожиданием обеда, по коему соскучился, и иду обедать, перебрасываясь ненужными словами с Другими, шагающими рядом: в проходе между столами, по широкому коридору мимо двери, скрывающей за собой коридор с тусклой лампочкой, под которой спит усталая секретарша Валя. Коридор замыкается массивными дверями, а вот за ними находится Квостьев. Болтать чепуху особенно уместно в очереди за котлетой, когда человечество не знает, чем занять себя, и обманывается, будто в очереди или в дороге, в ожидании какого-нибудь очередного Годо или в беспечных поисках утраченного времени оно как бы приготавливает себя к действительной жизни, а эти промежуточные периоды имеют служебное значение, — но обманывается человечество. Всё — сейчас, здесь. И никакого завтра.

А над котлетой сладостная мысль о скором (ведь половина пути пройдена!) окончании работы и завершении очередного трудового будня, убитого по всем правилам, как умеют убивать этот будень миллионы таких, как я, помогает найти силы для финального броска. Притворяюсь, что убиваю будень, а сам сплю с открытыми глазами, ведь послеобеденный сон необходим, сплю и стараюсь сохранить выражение умной сосредото-

ченности на всем, что простирается от лба до подбородка, минус уши и не достигая верхней трети шеи. Другие тоже спят, но их сон более чуток, они не сосредоточены и поэтому легко отвлекаются. Когда сон становится твоей непосредственной профессией, очень легко разобратся в промахах Других, понять их полнейшую некомпетентность во всем, что входит в епархию Сна, его предшествования и ухода. Немного попритворялись, что трудятся, — и опять падают с небес элтрические марсиане, натужно гудит Вумс, подводят итог жертвам; а потом играют в перекладывание колец с одной Ханойской башни на другую, в лабиринт, в посадку на Луну и прочее. Словом, как дети, кажется, — но нет, меня не проведешь: сплю, держа палец на спусковом крючке, тут же готовый отстливать и отбрыкиваться.

Жду последней минуты, но вот она! Сон как рукой снял моментально вскакиваю, хватаю пальто с вешалки и бегу. Слова тебе, всевышний, еще один день убит, смерть все ближе и ближе, все ближе и ближе окончательный итог. Теперь — не терять ни мига, пуститься вскачь по годами изученному маршруту приготовлений ко сну. Вот идут массы с работы черной повижной лавиной, холод октябрьского вечера ускоряет ее ход; толкаются в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, прижимают друг друга к обочинам в автомобилях, сбивают пешеходов, встают в очередь за бутылкой, забирают детей из детских садов, и я вслед за ними микроскопической каплей вливаюсь эти сточные воды мутно-серого человечества, забытого, как и зачем ему быть дальше, обезверившемуся человечеству, потерянному человечеству, грязному человечеству, хищному человечеству, несчастному человечеству.

Лихорадочно пью кофе с молоком и проглатываю выпечные пирожки с мясом. Потом щелканье ключа в замке коммунальной квартиры, очередь почистить зубы перед сном и — о блаженств — знакомые трещины в потолке, неумолимое тиканье будильника, заочно узнаваемые контуры шкафа и забытье, медленно вступающее из темного угла комнаты, абрис старого дерева в оконном проеме, вечер, который меня не касается, и ночь,

прихода которой не успеваю заметить. Сплю, гораздо охотнее, чем на работе, — сплю, лежа, не издаю храпа, видения нисходят ко мне. Исчезаю. Ну вот...

Вот погодите, мы выйдем из своих покоев и покажем вам, как надо по-настоящему убирать лен. Лихтеровозы? контейнероуборочные? — миллионов тонн пар обуви! Перестройка неостановима, словно трактор в бурю.

Она еще не замужем (неужели я такой собственник, что для меня имеет значение, замужем она или нет? нет, имеет значение, но не в том дело: замужество ее неузнаваемо изменило, она вся в пятнах от поцелуев, грудь ее искусана че- ловеком, с которым ей приходится спать в одной постели), она еще не замужем, и локоны ее светлы, утренний безлюдный парк прячет нас от людей. Потому что я унылый поздний романтик, говорю я ей, жить не умею, любить не умею, ничего не умею. Подожди, говорит она мне, это оттого что у тебя нет воли, и ты любишь как попало? Да, говорю я. И что же ты предлагаешь мне, говорит она, ведь я так молода, и мне очень хочется быть счастливой. Он искушает тебе всю грудь, говорю я, и ты постоянно будешь припудривать пятна от поцелуев. Неважно, говорит она, с тобой мне будет плохо. Правильно, говорю я, мне и самому — то с собой плохо, а тебе и подавно не останется ничего хорошего, но ведь ты здесь? Да, говорит она. И ветер дует с моря, и небо ясно, и утро? Да, говорит она. Ну тогда я счастлив, говорю я, а когда проснусь — будем считать, что я умер.

Мы подходим к краю котлована, а внизу, на самом дне копошатся Другие с Вумсом, секретарша Валя и Квовстьев, снуют, ковыряются, на них идиотские балахоны и шапочки с кистями. Тут и там взмывают бумаги, хрипит Вумс. Подойдешь к ним, говорит она. Нет, подожди, говорю я, еще есть время. Пойдем, я покажу тебе море. Ты слышишь, как оно спит? Покажу тебе старинные книги, они берегли таких же измученных, как я, но раньше, много раньше. Мы сидели у камина, а за дверью лил дождь, было холодно, а книги согревали нам души; взгляни, как светлы и как же печальны их лица, лики состарившихся по старости мальчиков. Если бы ты была одна, ты не заслу-

живала бы ничего кроме кнута, потому что ты стерва, я знаю, стерва и лжешь на каждом шагу, но ты не одна, есть ты и есть то, чем ты являешься для меня, вот почему ты так часто приходишь ко мне по ночам, и так часто тебе удавалось радовать и мучить меня. Дни, когда получалось тебя видеть, конечно же, были пусты, они были переполнены глупостями моего поведения, когда не знал, как с тобой обращаться, делал движение, оно тут же оказывалось никуда не годным, и от этого подташнивало, и не было единого способа жить, весь издегался, искривлялся, а еще зачерствел, и никогда не удавалось выдавить из себя слезу, даже когда приходила мысль пореветь в три ручья. Красивое, доброе и умное ужасно противоречиво в тебе уживаются. Да и в других... Вот пусть она умная — но страшно глянуть ей в лицо (помню о крокодилах); а уж если красива, то тут беседуешь с ней, а предчувствуешь всякую глупость. Вот ты и умна и красива, но зато ты в той же степени и стерва — в огромной степени, хотя мне до этого нет дела, с твоим отражением все проще; сколько в тебе было стервы, я всё это обнулil, произвел кое-какой макияж (в трудную минуту твоя голова напоминала мне репу с хвостиком, но теперь с этим покончено), и живу с твоей фотографией за пазухой, ее-то мне и довольно. Я нечеловеколюбив, я неморален, мне плевать на человека, плевать на человечество, плевать на великие идеи, плевать на тебя, плевать на себя, мы сидим по уши в дерьме, вот я и делаю ставку на сон, сплю всю дорогу, пока дадут, чем больше, тем лучше, а если не спать, то любое неосторожное движение, — и рискуешь захлебнуться. Мог бы петь про радостный всплеск ожидания, про в слезах прикусанность губ, про мятушность встреч и разлук, про отзвук прощаний, про тонкость и памятность рук, про губ мимолетную гибкость, про клятв неизменную зыбкость, про ритуальный круг, — но боюсь захлебнуться в дерьме, молчу. Сплю. Вижу сны.

Она еще не замужем и вдруг появляется; спрашиваю, отчего она так долго не шла, оттого, отвечает она, что... и не договаривает, потом я целую ее и плачу, потом она целует меня, потом кормит меня с рук супом. Приникаю к ее маленькой груди и застываю. Утро, седины инея в травах, яркий холодный свет осени и прощание, теперь уже насовсем.

Слабый взмах крыла и...

Будильник орет, он надрывается, он ходит ходуном; не смею швырнуть его циферблатом о шкаф, а то не напасешься, и возвращаются на места знакомые дерево за окном, стол, шкаф и трещины в потолке. И когда вдруг понял, что приговорен к яви. ... Ах, если б у мира было лицо, харкнул бы в него, но нет лица, и всякий плевок возвращается обратно, а к нему бывает привязан булыжник; и так до самой смерти. Натягиваю штаны, дождь. В очередь поставить чайник на газ, в очередь пописать, в очередь почистить зубы, — вот утро нового будня, готового быть убитым по всем правилам, и не хочется, а треща физиономией о наждачную бумагу жизни и считаешь за благо; дерьмо.

Активное долголетие целиком состоит из плюсов. У активного долголетия много поклонников. Активному долголетию нет альтернативы. Активное долголетие следует рассматривать как итог. Активным долголетием в большей степени приходится заниматься руководящим работникам. При активном долголетии человек живет долгой, насыщенной событиями жизнью.

День, когда натягивание штанов приносит пользу, — это день ожидания Квовствьева в коридоре подле его кабинета, там, где спит и привсхлипывает во сне секретарша Валя, лампочка создает освещение, пригодное для целей морга, а вдоль стены призрачные, подобные мне тени занимают очередь в ожидании Квовствьева и принимаются ждать, уныло шурша бумагами. Для меня ожидание Квовствьева есть приятная неформальная процедура вроде прогулки по саду, есть время развеяться и предаться пустым мечтаниям.

В этот день мои пустые мечтания посвящены проблеме материальности нашего брэнного мира. Хрипения Вумса почти не слышно из-за двери, и мысли обретают стройный законченный ход; был вызван к Квовствьеву за клизмой, а он, по обыкновению, уплелся на важное совещание к шефу системы, слинял, оставив всех в ожидании русского Годо, имя которому — Квовствьев, никогда не воскресить в памяти лица Квовствьева,

чем-то он напоминает мне бревно в галстук, к коему приделана пышная мясная свекла. Наши трусливо копошатся, елозят задами по гарнитурным стульям, каждый выявил один из маленьких грешочков, и теперь встал в очередь на процедуры, нервно зыркают на часы, изображая поспешность в силу невероятной занятости, а сами, в предвкушении мазохического удовольствия от попадания клизмы в зад, ведут меж собой светскую беседу о работе по-новому и муссируют завтрашнюю аттестацию, которая все должна расставить по местам, а поскольку мое место на свалке, то туда-то меня и следует препроводить пинком ботинка; за ворота, в поле, а в котомку вряд ли кто-нибудь сподобится сунуть горбушечку. Дарвинские законы отбора отдадут пальму первенства гомонукулусу на тоненьких ножках с громадной головищей, из которой торчат два ряда клыков, но будь у меня хоть по две пары челюстей на каждой руке, что и супротив грозного Левиафана, именуемого коллективом, мнение сего Левиафана и означает, что сколько б я ни щелкал челюстями, у них уже начищен ботинок для пинка.

Поневоле задумаешься о материальности бренного мира. Все упирается в мое непонимание материальности Квовстьева, отчего же ему быть материальным? Хорошо усвоил, что раз мы стоим на материальности мира, стало быть, нам тут же надлежит просыпаться, вставать и идти на работу, поскольку только таким образом устроенный мир приводит к победе всего светлого и разумного в планетарном масштабе, а раз начинает наблюдаться, что в материальном мире с тенденциями к разумному и светлому все меньше и меньше остается светлого, а разумного и подавно, и что если прежде мы сидели в дерьме лишь по плечи, то теперь мы сидим в нем по самые бакенбарды и вот-вот захлебнемся; ну а дальше получается, что следует махнуть рукой на материальность мира и всецело отдаться сну. Та же история и с Квовстьевым: ну что толку в знании о материальности свеклы, увенчивающей плечи его бревна, ведь если прикоснуться к истокам, то идея как можно больше благ в одни руки, понимаемая еще и в техническом смысле, возвращается к нам материализованной (ах, вот где пригодилось ве-

ликое учение!) в форме Квовстьева и означает ту фигу, которую природа достает из кармана впридачу к постигнутой снотости; с Квовстьевым возвращаются к нам все человеческие гадости и глупости, наши собственные, замечу, и выходит, что чем рациональнее и калорийнее мы питаемся, тем меньше смысла в питании вообще, и когда мы опустим в рот последний кусок сладкого пирога, вспышка слева даст понять, что кушать больше не придется, и не придется создавать музей боевой славы и всплескивать руками над торжественными покойниками к круглой дате, что будет приостановлена извечная традиция использовать жертв предшествующей войны в целях патриотического воспитания молодежи. Вот ты — молодежь. Должным образом обученный, ты бежишь по пустыне, ты собрал-разобрал автомат, ты кинул две гранаты вдогон уходящей беде; но во второй части мы смотрим в экран и видим, как одни валькирии оттаскивают твой прах под плиту, другие уже трудятся над надписью; третьи заворачиваются в черное, а четвертые, притворившись матерями (а разве разумно считать материнством, когда из низа живота вылезают новые ручные ангцы на заклятие), заявляют во всеулышание, что если понадобится еще трупов для войны, то уж непременно нарожаем в необходимом количестве, а папанька-прапорщик отведет в тир и научится целиться под обрез, потом некий печальный невыспавшийся юноша, словно Брюллов у себя на картине про последний день Помпеи, подсядет к Вумсу и примется шлепать марсиан, и так далее, и тому подобное.

Что же касается бога, то его наличие или отсутствие может быть соответствующим образом показано или опровергнуто, и мне удобнее всего думать, будто он одновременно и есть и нет; в момент обращения к нему с мольбами известно, что ему нет никакого дела до нас, несчастных, тогда он есть, а вдруг обнаружилась некая манна небесная, и никто не омрачил праздника, вот тогда его нет, ведь как же упустит реальный шанс подложить свинью кровожадный, ослепший от гнева бог, пожирающий детей своих. Впрочем, здесь возможна и обратная логика, когда господь предстает пред нами совсем вялым и стерильным, как покупное пастеризованное молоко, и никому не нужным по причине своей прогрессирующей дистрофии, когда

же это сильный просил помощи у слабого; не бывает.

Материальность Квовстьева под вопросом; вот как волку в лесу мы приписываем санитарно-служебные функции и только в сказках домысливаем, что поэтому-то он злой, так и не следовало бы нам наискрывать у Квовстьева чувств, коих нет, а ограничились бы сводной таблицей процедур регламентации, соответствующих Квовстьеву, собрали бы все в кучу, рассортировали и получили конечный автомат, легко изготавливаемый на полупроводниковой основе; Квовстьева можно также легко имитировать, используя в этих целях хриплый Вумс со встроенной свеклой в галстук. Квовстев явлен как тормоз инициативы, как указание, как наказание, как промежуточное звено, как символ, наконец, — совсем невещественным (духовным?) наваждением; такой мог ходить по ночному старинному замку, обернутый в красную бархатную скатерть, хлюпать свеклой и вздыхать, о его таинственной смерти ходили бы легенды, они передавались бы шепотом из рода в род; мы утратили вкус к жизни и совершенно не умеем справлять ожидание Квовстьева, превратить это в конфетку, в обряд: напридумывали бы песен, хороводов вокруг спящей секретарши Вали, театрализованных взмахиваний бумагами на подпись, предположений о Квовстьеве, страданий по Квовстьеву; но рецепт ожидания утерян, как утерян всеми без исключения евреями рецепт хорошего чая. Ну вот и евреи подвернулись; на моей работе, как и на всякой другой, они выскивают своих, слетаются в стайки и принимаются всяким образом устраивать свои дела, на это возникает встречное движение бородатых мужиков с очень русской мыслью о приведении жидов к ногтю; оба лагеря затевают встречные маневры и собираются по вечерам каждый за своим столом, одни надевают национальные шапочки, достают из загашников пыльные древние книги и принимаются над ними зудеть, другие обряжаются в поддевку и смазные сапоги, выкатывают весьма непопулярную нынче и оттого очень дорогую водовку, опосля первой рюмки берутся материть жидов и обвинять правительство в мягкотелости. Те и другие носят грязные ногти, у каждого за пазухой сидит по идее, меж собой они тасуют подпольную литературу с ответами на вечные вопросы бытия. Не являясь евреем и не разделяя исконно русских взглядов на националь-

ный вопрос, предпочитаю отсиживаться в глубоком русском тылу, и когда меня зовут на борьбу за великое дело, я говорю, что хоть Пруст и был наполовину евреем, это не помешало ему стать великим писателем. Русские испокон веков гоняли евреев из конца в конец исключительно от скуки, как мне думается; когда понимаешь, что жизнь не имеет смысла, хочется все-таки держаться некоей великой идеи или категории, что ли, вроде спасения Отечества, ну и встаешь под знамена, а то и просто, потому что они носом не вышли, бывают **быстро умные** и всюду пролезают. Смысл еврейской жизни состоит в приобретении благ, они хватаются за другие флаги и в преддверии великих перемен надевают свои национальные шапочки. Флаги у всех грязные, все ошибаются, поднимают тучи пыли наполовину с дерьмом; ругаются, тычут пальцами в древние книги, и так всю дорогу. Но война всех скопом валит в общую яму, там и сям трудятся валькирии, эринии и гарпии, стоит смрад, валяются национальные шапочки, древние книги, хоругви, смазные сапоги, а на обочине пристроились в обнимку Яхве с Михаилом Архангелом, и по их набитым трухой чучелам ползет мудрая змея. **Вдоль зарева полей брани** ходит Квовстьев и подсчитывает убытки, итог его труда есть новая методика проведения занятий по гражданской обороне, — научить слоников в химкомплектах активно прыгать ногами к вспышке, головой при этом оставаясь в укрытии, чтобы было чем слушать последние известия.

Удушливая атмосфера коридора клонит в сон; Квовстьев не появился, ему стало неловко вступать на должность Понтия Пилата, достаточно ему и своей, впрочем, неверно считать, что мое увольнение с работы по результатам аттестации сродни распятию, здесь, напротив, есть что-то от снятия с креста, только никто не удосужится омыть тело, и придется своим ходом идти в баню и, усердствуя мочалкой, соскабливать с себя вековую грязь одиночества, тщеты и уныния, чтобы уже **очищенным** предаться сну и, наконец, забвению. Да, спать; вот выпечка с мясом, вот темные толпы, вот трещина в потолке, соседка засела в туалете, будильник, дерево за окном, ночь.

Аттестация выявляет нерадивых. От аттестации добра не ждут, как и от всякого другого добра. Аттестации обязаны будут подвергнуться все желающие. Аттестацию легче провести, нежели уклониться от аттестации. С аттестацией тесно связано понятие аттестационной комиссии. На аттестации обычно присутствуют председатель аттестационной комиссии, секретарь и объект аттестации.

Мама еще жива (когда отец был жив, приносил с работы радиодетали и напайвал неработающие приемники, по квартире шмонило горелой канифолью, он пытался показать мне, откуда и куда идет ток, а мне и тогда не было до этого дела, он презирал меня за неспособность к электричеству, да и ко всему остальному, пожалуй, я терпеть его не мог, однажды он застал меня за онанизмом, и пришлось давать объяснения, что двигаю рукой вперед-назад, так как хочется бабу, а бабы нет; папа был сыном своего отечества, в котором ясно на тысячу лет вперед, что бабу может хотеться только в том единственном случае, если эта баба — жена твоя, и мать детей твоих, и баба внукам твоим (баба насквозь), а чтобы жениться, нужен паспорт, а у меня не было еще паспорта, а бабу уже хотелось, и я, во-первых, никак не мог уяснить себе, отчего такое несоответствие, а, во-вторых, решил, что раз уж такое несоответствие, то лучше не мучиться понапрасну угрызениями плоти; ну и, как пишется в одном из буколических романов, "а уж природа сама указала дорогу", да, вот именно. А через полгода, как отец ушел, и не стало денег в доме, приходилось нищенствовать на мое пособие у Квостьева и на материну вторую группу, и в один из вечеров я подошел к ней по приходу с работы и сказал: мы живем так, что между нами едва есть воздух, и тебе, наверное, неприятно каждый раз по ночам не засыпать от скрипа кровати, когда я там занимаюсь своими делами на ночь, завтра ты, пожалуйста, сходи в кино на вечерний сеанс, а я приведу бабу, ведь стыдно в моем возрасте удовлетворять себя под одеялом; ее чуть не вырвало, ну а как же, так воспитали, что бабу и не надо, а есть одно лишь нравственное чувство, крепкая дружба между полями, так, чтоб радости и печали —

поровну; а мне-то понарасказывали об этом, я пошел в кабак, коньячный пунш стоил два рубля, я заклеил женщину не первой свежести, это стоило мне еще два рубля плюс сигареты плюс сигары плюс томная румба под пальмами на берегу моря; когда она присосалась к моим деснам как пиявка и минут пять пыталась откусить мне язык, я повел ее на хату, жирная точка в предложении пойдём погуляем подышим свежим воздухом, столкнулись на лестнице с мамой, нечеловечески каменное лицо было у нее, прошли по коридору мимо соседской старухи, вякнула б хоть букву, ударил бы; заперлись, недолгое ля-ля, невзначай подвернувшаяся дешевая красная бутылка (заработок-то, заработок, и вот неумелые несинхронные раздевания, быстрое завершение и потом — ее человеческое участие к моей девственности и научение нехитрым премудростям правильно проходить руками сверху вниз и чувствовать, когда уже можно; вот так за треху стал мужиком, а жить стало труднее, совсем потерял нить, затем много было всяких других, перестал шуршать под одеялом, а когда природа парализовывала пах и безотлагательно требовала бабу, — распускал хвост павлином и бежал к подруге быстрого развертывания, в прежний кабак; удивляюсь, как не подхватил насморк, в последнее время разнохали про неизлечимый СПИД, что он бродит по Европе точно призрак коммунизма, и надо опасаться бесстыжих северных красавиц из-под заграничных негров, иначе дело дрянь; потом мне достали манновскую статью о Ницше.) Мама еще жива, приходит по ночам, растерянно смотрит в глаза, она страшно кричала, когда метастазы подошли к позвоночнику, в гробу я не узнал ее, она лежала иссиня-желтая с перекошенным лицом, вокруг какие-то темные лица таскали венки, а потом понесли гроб из дверей, крышка осталась сзади, а вонючий русский способ таскать покойников взад-вперед велит крышки нести вначале, застопорились, когда сказал все равно, залопотали заквакали не нами заведено не нам и нарушать, я заорал, потом не помню, потом нашатырь, морозные комья о крышку, водка. Долго не ходил на работу, не хотелось жить; может, я себя совсем не знаю, не пришлось одиноким вечером вдруг слышать шорох плаща по ступеням и внезапно — приглушенный лязг железа о ка-

мень; оттого и браввирую смертью; а подступит — и заскулю, и примусь валяться в ногах — жалкие крохи вымаливать, кланчит словно испещренный лишаем помоечный голодный кот-скелет просят куску у людей, а затем истошно воет от голода всю ночь под моим окном.

Только изучать трещины в потолке, давиться слезами, запершись на крючок, и спать.

Спать — вот верное средство жить и не жить в один моме. Неужели хоть раз пальцем пошевелю во имя великих идей, благ намерений, лихих начинаний, глупостей, подлостей для новой войны, никогда не остановимся, пока не передадим друг друга потащили за собой в космос лазеры, мазеры, фазеры, дерьма с пирогом, — и полетели мочить марсиан (если они нас раньше не замочат); я не хочу, я сказал не хочу, я сказал, что я сказал, что я не хочу, и в гробу я это всё видал, а я видал всё это в гробу; ведь начнется пальба: бух! трах!! — и небс свернулось в трубочку, и вот понёсся в убежище Квовстьев, покрытый своей красной скатертью, словно позором; он бежит, а камни говорят ему: не хотим на тебя падать, нам стыдно лица Сидящего на престоле, прикрой своё лицо, позорище, а он кричит про какие-то бумаги; светопреставление. А тут же Цицерону подбили глаз, Коперника изваляли в перьях, Шекспира выгнали из партии; а Моцарта не трогает всё это — он уснул на пляже под радиолу собственных звуков. Меня трогает, но я не ввязываюсь, я не в силах застопорить колесо, я ухожу. Сплю; сплю, сказал; сны вижу, па, па...мама, мамочка.

Мама еще жива, ей почему-то нравится народный поэт Нейрасов, как дед Мазай спасал зайцев во время наводнения, они боязливо жали уши, а он усмехался и оттаскивал их за уши в свою ладью; кто вытащит нас из дерьма? мы по уши в дерьме, кто не побоится измазаться в дерьме, возьмет нас за уши и вытащит в свою ладью? Годо? Квовстьев?

Мама подолгу глядит на дерево в окне, ты так и не научился завязывать шарф как следует, говорит она, иди к Квовстьеву зарабатывай деньги. Я не пойду к нему больше, говорю я он зомби, он пьет кровь. А ты предпочитаешь болтаться без присмотра, говорит она, как предоставленные самим себе по-

ростки? Те, говорю я, занимаются гуманным делом, они болтаются без присмотра и не засели за придумыванием машин для истребления человечества в кабинетах Квостьева. Но они и денег в дом не носят, говорит она. Зачем тебе деньги, говорю я, ведь тебя больше нет. Да, говорит она, а ты. А я тоже скоро умру, говорю я, а до смерти постараюсь перебиться так. Тогда потуже затяни шарф, говорит она. Дождь и град по очереди колотят в стекло, затуманившееся, потерявшее четкость изображение дерева в окне ворочается, сгибается под ветром и кричит. Ты по-прежнему любишь ее, говорит она, бегаешь за этой сукой как дешевый мальчик. Я привык к ней, говорю я, тут уж ничего не поделаешь, очень глубоко пустила корни, отравила половину памяти, здорово покалечила, я не умею проигрывать, а еще я очень легко привязываюсь, мне никогда не хватало тепла, участия, тебя не хватало, мама. Я пошла, говорит она, сейчас пойдешь на работу, а потом иди за мной. Сейчас приду, говорю я, сейчас, сейчас.

Перестройхм. Грр-хм-эхх.Грр-хм-эхх. Грр-хм-эхх.Хру.Пэсс. Пэсс-н, Пэсс-н. Грр-хм. Грр-хм-эхх.Хру-пффу.Дзззззззззззззззз!

Сразу знаю, что произойдет в следующие часы после ненавистного крика будильника; будильник выказывает свое донное нутро, снаружи — очень красивое железо с цифрами и стрелками, а где-то внутри сидит страшное кричащее омерзительное существо, подобное Хайду при докторе Джекилле, смрадное воющее существо. Наступает время надевания штанов и занятия очереди в туалет: вы крайний? я за вами; нет, лучше дождитесь последнего; хорошо. вы будете стоять? да? тогда я сейчас подойду, у меня еще очередь в умывальную; и голос, доносящийся сверху: ЭЙ ВЫ СКАЖИТЕ ЧТОБ ЗА ВАМИ НЕ ЗАНИМАЛИ ВОДА КОНЧАЕТСЯ НЕ ЗАНИМАЙТЕ ВАМ ГОВОРЯТ. Мне достает воды, я радостно кушаю вчерашнюю черствую булочку и бегу под землю; вот если война, так я сразу уже как бы у Христа за пазухой, сижу в установленном порядке, кушаю питательные бобы из банки и внимаю сводке последних подземных известий: сколько осталось бобов, сколько воздуху, сколько электричества. Пока войны

нет, еду на работу, по своему обыкновению сплю, на нужной остановке волна выносит меня из дверей поезда к элеватору; едем, упакованные в теплые вещи, слушаем шум подземных машин, пересчитываем промежуточные светильники, разговариваем спим.

Вот я подхожу к кабинету, где заседает комиссия, тихо ко приоткрываю дверь и вижу: Других с клизмами в полах, и на вершине холма — комиссию с грустными лицами праведников на Страшном суде; спят — шеф системы, хитренький Квоствьев, лясный дряхлый секретарь комсомольской организации системы и не спит еще некто с лицом передовика, только что с корнями вырванного из земли и не отряхнутого; ну пусть будет Спиридонов. Бочком пробираюсь к холму, случайно задеваю за веревку от колокола, он звенит, члены комиссии вздрагивают во сне Спиридонов прикладывает жирный палец к губам и говорит: тише, тише, идет аттестация, вот возьмите. Спиридонов достает клизму из чемодана и протягивает мне. Я, притворяясь наивным принимаю клизму за градусник, сую ее под мышку и сажусь у подножия холма мерить температуру. На специальном помосте из неструганых досок робко вошкается один из Других, постоянно что-то объясняя комиссии и протягивая ей бумаги, суетно выдергиваемые из-за пазухи. Спиридонов мерно ходит за спинами спящей комиссии, на ходу просматривая бумаги, затем, видимо, ознакомившись с бумагами, подходит к своему излюбленному чемоданчику, достает оттуда клизму, протягивает нечастному и говорит: это которая по счету? Восьмая, говорит утыканный клизмами. Значит, осталось еще четыре, говорит Спиридонов, идите, вас вызовут, вызовут, заранее держите при себе бумаги. Тот уходит, на его место встает следующий, тянет руки с бумагами к Спиридонову, и так далее.

Вот уходит очередной по номеру, и внутреннее чувство подсказывает, что настал мой черед. Встаю на помост и вместе с бумагой протягиваю Спиридонову клизму, тот брезгливо отстраняется и говорит: сначала бумаги. У меня и в помине нет никаких бумаг, говорю я. Какое легкомыслие, говорит Спиридонов и задумчиво проводит рукой по твердому лбу. Молчание. Но тогда здесь есть процедурное несоответствие, говорит

затем Спиридонов, вы проходили аттестацию? Нет, говорю я, я только что вошел, не ознакомлен с нормативами; наверное, я вношу путаницу в процедуру аттестации, укажите мне мое место. Эта клизма первая у вас, говорит Спиридонов, значит, где-то здесь у меня есть и вторая. Очень может статься, говорю я. Предъявите мне ваш аттестационный пропуск, говорит Спиридонов; он разворачивает пропуск, и вижу, как на лице его появляется злорадная улыбка. Спиридонов бьет в колокол и говорит: вставайте, он пришел. Комиссия просыпается, свеклы у всех помнят, зевают; Спиридонов надевает белый халат, защитные очки и вынимает из чемодана приготовленную специально для меня огромную клизмицу; радужные блики носятся по ее стеклянной спине, она отбрасывает зайчики; зрелище фантастическое. Члены аттестационной комиссии уставились на меня. Это он, говорят они, давайте его сюда, клизму держать выше, выше, Спиридонов. Я задам ему первый вопрос, говорит Квовстьев, вот вы знаете, что мы производим железо для новой войны; сколько железа произвели лично вы? Быть может, вас огорчит мой ответ, говорю я, но я совершенно не произвел никакого железа, совершенно никакого железа. Не я внес посильный вклад в подготовку новой войны, я писал программы игр для Вумса; когда сотрудники нашего отдела шлепают по марсианам, они тем самым готовят себя к предстоящей войне в космосе, а разве такая работа бесполезна? Но это не может служить оправданием, говорит Квовстьев, все-таки мы производим железо, мы не в игрушки играем; ну а сколько у вас научных публикаций, посвященных разработке железа для новой войны? Этот ответ вас тоже огорчит, говорю я, но у меня совершенно нет публикаций по железу для новой войны. Значит ли это, говорит шеф системы, что уровень вашей работы — исполнительский? ведь тогда у нас появляются основания для вашего увольнения из системы. Нет, не значит, говорю я, уровень моей работы — не исполнительский, у моей работы вообще нет никакого уровня, потому что я ничего не делаю на работе; я пытаюсь заснуть, но у меня это плохо выходит, мне постоянно мешают, вызывают к Квовстьеву; здесь не может быть и речи об исполнении, и у вас нет никаких оснований для моего

увольнения; единственное, что вы вправе сделать, — это убить меня. Расстреляйте меня. Основанием для расстрела послужат мои нерадивость и злостное тунеядство при изготовлении железа для новой войны.

Комиссия принимается задумчиво теревить свои свеклы. После паузы встает комсорг, пошатываясь от старости, и говорит: предложенное им совпадает с нашими представлениями о мерах, которые необходимо принимать в отношении лиц подобного рода, и вполне соответствует инструкциям, которые будут получены нами завтра; если мы соблюдаем эти инструкции сегодня, то мы опередим время. Но я ничего не захватил с собой, кроме клизм, говорит Спиридонов.

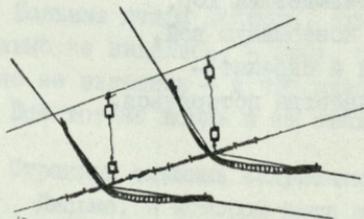
Очень плохо, Спиридонов, говорит комсорг, вы оказались в хвосте, поэтому возьмите свою гигантскую клизму и засуньте ее себе в задницу, раз не умеете работать по-новому. Спиридонов с виноватым лицом плетется за холм, волоча за собой клизму, а члены комиссии ворошат ботву на своих свеклах. Наконец Квовстьев говорит: не думаю, что лучше расстрелять его сегодня, если инструкция о порядке расстрела и лицах, ответственных за расстрел, придет только завтра; не следует толковать старое как новое, пока оно еще не стало совсем новым. Сегодня я предлагаю отдать его на съедение Другим с погашением всех непроставленных клизм, а то, что останется от него после этого, мы расстреляем завтра. Великолепно, великолепно, говорит комиссия, трясет ботвой на свеклах, вышвыривает землю из горшков, сучит корнями под столом, о Квовстьев, это замечательное, это великолепное заключение.

Перед тем, как быть съеденным своим собственным коллективом, говорю я, я хочу произнести речь. Друзья. Сейчас вы займетесь производственным каннибализмом; вы умеете это делать, я знаю, но вам от меня не будет никакой пользы, я всего лишь унылый поздний романтик, я никогда не умел жить, а когда мне доставало мужества шевелить мозгами, то сразу наткнулся на непреодолимую стену кругом себя, и было не вырваться. Так что грош цена моим снам, моим мыслям, грош цена моей ненависти ко всем вам. Пируйте, друзья, и славьте ваших

железобетонный сторуких богов, у коих в левых руках – по кепке, а каждая правая рука засунута в свой карман, а там – фи-га, указующая на вас, аки ствол. И пока вы жуete мое горькое мясо, кто-то, такой же, как я, перестает жевать сопли во сне, просыпается и придумывает железо для новой войны, а оно, как только его пускают в ход, валится вам на головы, и никто не будет обойден его вниманием, вот последняя клизма; и увидите, как железо новой войны острым ядовитым жалом разрывает утробы и приканчивает тех, кто мог бы стать убудком и придумывать железо для новой войны, и тех, кто мог бы рожать тех, кто мог бы стать убудком и придумывать железо для новой войны. Достаточно, я кончил, все – к столу, и поживее, а то не достанется укусить.

Здравствуй, мама.

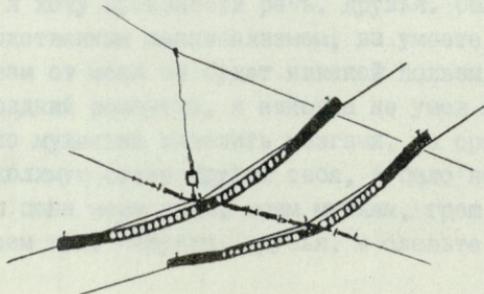
октябрь 1986, 1989 г.



СТИХОТВОРЕНИЯ

И губерния пишет
строчки нервные птиц на полях,
занесенных золою,
а нам с тобой ехать и ехать
мимо голых болот,
называемых нынче — земля,
где уже, Боже мой,
не бывать человекам.

Что же, в этом есть смысл —
и, наверное, свой.
И, наверно, прекрасно
соскочить на ходу и податься
в обезлюдивший хор,
в тишину, позабывшую вой,
страх и скрежет —
и в ней навсегда потеряться.



— — — — —
 В немоте параноичной
 палачей не мучат сны,
 в темноте многоязычной
 междометия одни.

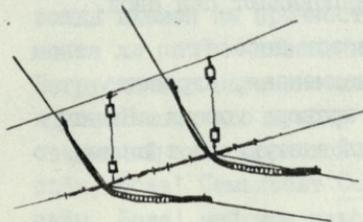
И щегол, вмерзая в прозу
 века жёсткую, поёт,
 и кремлёвский мафиози
 ночью трубочку сосёт.

Обезьянка дремлет грустно
 в клетке, ибо мир — тюрьма,
 а в Берлине бедный русский
 отпускает свой роман
 на свободу — и родную
 бормоча себе строку,
 на урок идёт-танцует
 к молодому дурачку.

— — — — —
 Ирине Ратушинской

Больные птицы Господа, одни мы.
 Давно не виделись, — пишу. Окно, стена.
 Давно не виделись — и что здесь изменилось?
 Всё тот же дождь и на столе вино.

Страницы слышишь полуночный шелест?
 Письмо, в котором наши имена
 пригвождены к посмертным воскрешеньям,
 а души — к одиночествам иным.



— — — — —
Прощайте, город мой, прощай,
чугунный бред оград,
Невы арапская строка
и зимний сад любви.

✓ Прощайте, милая, и Вы —
и уходите светло,
и лёгок шаг, когда душе
сказаться повезло.

Прощайте, добрые друзья,
кормите воробьёв,
а я туда, где только я,
где нет чернил и слов.

— — — — —
Леониду Аронзону

Больные листья новых октябрей.
Записки осени, скупые письма ночи.
И что еще? Извозчик, слякоть, бред,
где — улица, фонарь, пивная.

Что может знать не знающий любви! —
перевожу души тревожный шепот.
Свободу тайную, где спичка и печаль,
деревья вытанцовывают сад свой.

Играют осень эти небеса.
Нева себя, надменная, играет.
Передо мной гравюра города. На ней:
иду — и дождь выстукиваю тростью.

— — — — —

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДНОЙ ПРОГУЛКЕ

Михаилу Генделеву

Нева декабрьская. В обрез
 нам времени — и посторонние
 проходим сфинксов, фараонов,
 держа или держась за речь.
 И вся-то радость — танец губ.
 Пирамидальное пространство
 сощурилось на чужестранцев,
 гуляющих себе в пургу.

Снуёт снежок пустынный. Всё
 снежок, снежок над Римом третьим.
 И в черноречинском балете
 болтаемся — о том о сём.
 Бардак, похожий на барак.
 О, сыпь лакейских междометий!...
 Бежать восточных сентиментов.
 От бреда — не от топора.

Еще не та война. Уже
 не эта — и арап печален
 строкою смуглой и курчавой.
 Душа, изобрази сюжет,
 в котором горе — не беда,
 и появляется во поле
 герой, отплаканный здесь, после
 прощаний русских навсегда.

Снежком попробуем портрет
 вождя племен на прочность. Рядом
 мента ли нет? — невольным взглядом.
 Взгрустнем о перемене лет
 и улыбнемся, ибо в ночь
 очередной зимы хреновой
 пьём, Боже! Семьдесят Седьмого
 пьём, Боже! майское вино.

Юрий Галецкий

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДВУХ КНИГ

* * *

Послания к лемурам*

1979 - 1981

* * *

Свидетель полуночного блаженства
и тишины нам неподлунной женской
и тайной тишины

пустых зеркал, где луч лучу наскучил,
а ход двух слез тенями слов разучен —
но и они не произнесены —

о нет, не камень спит в угрюмой нише
тебя — души твоей — затем ты дышишь,
что монотонно выпевает рот

полеты мотыльков ночных — их знаки
на звук нанизаны, а в крылышек размахе —
узорov темных темный разворот.

* Послания к лемурам. Иерусалим, 1981

ВОЗВРАЩЕНИЕ В НАЗАРЕТ

Мы с тобою чуть свет поднялись,
и цветы —
голубые цветы —
из-за голубизны
ты сказала купить,
но они не цвели,
ибо ночи у нас холодны.

Продавал в темноте
голубые цветы
развеселый еврей —
эти цветы —
их для белых церквей предназначила ты —
назаретских
церквей.

— И зачем вы торопитесь так в Назарет —
цветочник смеялся, старик:
не сияют
с небес
и уже
не горят —
ни одна звезда не горит.

Сон в Нацерете,
сон —
а в Нацерете тот —
дым и марево нежное — дым золотой,
что никто не заметит,
как кто-то войдет —
и уйдет по дороге пустой.

Собака залаяла —
так на земле —
ты права —
только сон человеческий да лай,
да один кто-то едет —
один на осле —
по дороге на Ерушалаим.

Увы!
я забыл арамейский словарь,
мы так рано проснулись напрасно —
поверь —
и цветы голубых левантийских кровей —
не для белых церквей
Назарета...

зачем
нам понадобилось в Назарет!
Посмотри же скорее:
фигурка вдали
все на холмы взбирается, там —
посмотри! —
из запекшейся бурой пыли.

И тогда только,
к холмам оборотясь,
ты заплакала громко,
навзрыд —
что последние звезды сгорели над ним —
и уже ни одна
не горит.

*

* * *

В. Г.

Серебряная осень Палестины.
Совсем — и безнадежно запустили
заслуженный колониальный стиль.

А писем мы и вовсе не писали.
И пылью обернулись сами
листы, впитав серебряную пыль.

Кто упрекнет нас — даже вспомнит если —
там — в Метрополии — решат, что мы воскресли —
так долго были безупречны мы —

донашивая выцветшее хаки —
как самые упрямые служаки —
хамсин, оливы, бедные холмы.

Стихотворения Михаила Генделева*

* * *

И раньше
 подверженный тишине
 все чаще
 я
 и нахожу себя в тишине
 в виду равнины в пустыню переходящей
 и не
 возвращающейся ко мне

и все
 на что взгляду случалось падать
 и
 на глазное дно медленно и кружась
 все больше предметов становится тем что память
 то есть
 тем чего нет
 и чего не жаль

и себя понимая включенным в опись
 при тишине читанную и при тьме
 где от когда
 не отличая вовсе
 здесь
 я ставлю себя как подпись
 на пустых полях
 в твердой памяти и уме.

* Стихотворения Михаила Генделева. Иерусалим, 1984

ЭЛЕГИЯ

Я к вам вернусь
 еще бы только свет
 стоял всю ночь
 и на реке кричала
 в одеждах праздничных
 — ну а меня все нет —
 какая-нибудь память одичало
 и чтоб
 к водам пустынного причала
 сошли друзья моих веселых лет

я к вам вернусь
 и он напрасно вертит
 нанизанные бусины
 — все врут —
 предчувствия
 предчувствиям не верьте
 — серебряный —
 я выскользну из рук
 и обернусь
 и грохнет сердца стук от юности и от бессмертья

я к вам вернусь
 от тишины оторван
 своей
 от тишины и забытья
 и белой памяти для поцелуя я
 подставлю горло:
 шепчете мне вздор вы!
 и лица обратят ко мне друзья
 чудовища
 из завизжавшей прорвы.

VII

Посмотришь из глазниц:
ни тьмы и ни печали
спокоен вид зари — заря восходит ведь

я выпускал бы птиц
когда б они летали
и есть куда лететь

смотри на вавилон
со стен Иерусалима
колокола гудят язычники поют

посмертный небосклон
заря пронесит мимо
в долину где встают

смотри на вавилон
на мирные жилища
на башню для какой гранились валуны

се — мир твой и полон
но око с неба ищет
покор твоей спины

водитель колесниц
иль дают кварц сандалии
или каменотес — но выше рост строил!

я выпускал бы птиц
когда б они летали
я б сокола купил

а в мире так светло
так радостна долина:
раб восстает с мечом и ветеран с кайлом

смотри на вавилон
со стен Иерусалима
смотри на вавилон!

/из цикла "Второй дом"/

II

Он был городом — холм
сам был город с хребтом перебитым
лабиринты
иссохли его потрохов
и в колодцы вползли трилобиты

и цветы стали солью
потом
известь выросла в белую злую траву
это холм на котором мой дом
где живу

дом стоит над долиной
которая — ниц
перед домом что стал высоко
так бы стать и следить из бойниц
за течением битвы

но окончилась демонов битва
в серебряном небе
ни птиц
и ни звезд и ни облаков
ни дождя ни молитвы

дом
стоит над долиной
в которой уже не встают инвалиды
только

жирные красные глины выползают из ям на разбитые плиты

ни души
хоть кричи петухом разрывая у клюва углы
это холм на котором мой дом
это холм
его травы остры и белы.

*

III

Сначала темнота
затем конечно детство
затем
прямая речь

и все
что получил
в горячее наследство
какого не беречь

и в свой черед учусь
неопалившись
падать
в узоры на лету

летая наизусть
из пламени
на память
из тьмы на темноту

сам
пепла лепесток
ничем не освященный
ни при какой луне

ни при каком огне
серебряный и черный
как
и хотелось мне

вот блеск пылицы
он — пыль
свинцовых окон дома
пыльца на витражах

в полет!
холодный дым
падением ведомый
ничем не дорожа

как тем что на лету
гадать
куда не падать
лететь не перестав

сначала темнота
затем печаль и память
и
снова темнота.

*

IV

Е.

Смерть и бессмертье два близнеца
эта усмешка второго лица
так же
придурковата
и у сестры и у брата

с кем и кому я стелю на полу
кто мне по каменному столу
кружку подвинет и пищу
жителя
в нашем жилище

с войн возвращаются
если живой
значит и я возвратился домой
где на лицо без ответа
смотрит лицо до рассвета.

VI

Никого нет
у меня в дому
только заметим вслед
их нет
но не потому
что нет их
их вовсе нет

поэтому
ляжем
песком
кровать
по пояс занесена
пора переночевать пора
по ту сторону сна.

VII

Мне снился сон что был я несчастлив :
как насекомые
хрустели по паркету
осколки
мелкие искали мы монеты
шкафы какие были растворив
а после
— голого —
— сама в шелка одета —
меня смотреть водили на залив

бессмысленно и долго я смотрю
на ветер
вместо неба побережье
на хляби
много гибельнее
нежель
им разливаться бы по октябрю
я засыпал
не раньше чем забрезжит
в дверном проеме то что знали как зарю.

/из цикла "Война в саду"/

VII

Л. М.

Не перевернется страница

а

с мясом

вырвется:

ах!

в мгновенном бою на границе
у белого дня на глазах

с прищуром

тем более узким

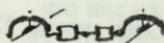
чем

пристальнее

устремлен

Господь наш не знает по-русски
и русских не помнит имен.

РАССКАЗЫ



В ТИХОЙ ПРИСТАНИ

Блаженные настали времена. Отменили каторжный режим, сняли с дверей засовы и с окон – решетки. С работой не прижимают, кормят лучше. Дают трое суток изолятора не за то, что номер стерся, а за то, что следы его остались! В бараках всё просторней, и можно вечерами собираться и "травить баланду" – беседовать. Компания у нас изысканная, хотя и несколько анекдотичная:

Граф, бывший премьер Ленинградской оперетты. Потрепанный, но еще томный и женственный.

Князь – эмигрант, упрямый старик, никогда не откликавшийся, если его не назовут "князь" или "ваше сиятельство", не желавший работать и не вылезавший прежде из изолятора.

Адмирал свиты Его Величества, хваставший, что видел царя голым. – "Где?!" – "В финских шхерах! Когда императорская яхта крейсировала там, мы с Государем отправлялись на шлюпке в уединенную бухту. Купальные же костюмы тогда приняты не были".

Одержимый профессор, признанный на Западе и непризнанный у нас. Он носился с идеей, что Земля наша – тело не изолированное, а подверженное влияниям из космоса. От ритма и характера излучений зависят не только эпидемии или рождаемость, но и характеры людей, и войны, и социальные катаклизмы. "... И то, что мы с вами здесь находимся!"

Все мы благодумствовали, но притом нетерпеливо ждали дальнейших перемен. Только один старик – самый старый из нас – ничего не хотел:

— Ну что еще надо?! Пайка хлеба на столе. Пищевой рацион разумный: ни ожирения, ни подагры, ни диабета! Крыша над головой, одеты, обуты, вымыты. Работой не загружены (старик по возрасту был совсем освобожден от нее). Общаешься с прекрасными, интересными людьми. А как я жил раньше? Одно беспокойство! Отец у меня был золотопромышленник, и, поверьте, дело у него шло лучше, чем здесь! Меня послал учиться в Санкт-Петербургский университет. Окончил я его, приобрел особняк, собрал библиотеку, хотел посвятить себя филологии. Не вышло! Отец умер. Поехал ликвидировать его дело — не смог! Наличного капитала нет, все вложено в предприятия. Пароходчики, по моей неопытности, нагрели меня на огромную сумму. Пришлось вникать в дело. Через год одного пароходчика пустил ко дну, через два — второго. Старого управляющего выгнал, выписал нового из Англии. Через три года — уже не семь миллионов, а двенадцать! И никак не покончить с делом. И народ жалко по миру пустить, — сколько их у меня работало! К революции у меня уже семнадцать миллионов. Как лопнуло все, я в Японии оказался. С собой немного захватил. Жить надо — вложил в дело. Капитал расти стал. Отделения появились в Корее и Китае. Там меня и прихватили наши — в Китай по делам ездил во время войны. Теперь на Колыме очутился. И не поверите, только тут вздохнул! До революции: дом в Питере, челядь; в Благовещенске — челядь, в Хабаровске — челядь! О всех дармоедах заботься. А прииски, а пароходы! А в Японии, полагаете, легче?! Там свои требования. Например, хочешь — не хочешь, а любовниц содерки, реноме требует. А зачем они мне?... Дела, служащие, общество — с утра до ночи покоя нет! А здесь — как в тихой пристани!

ТАВЛИНКА

Есть старинный анекдот:

— Почему, служивый, у тебя на крышке тавлинки Наполеон наклеен, а Государь Император внутри запрятан?

— А потому, вашбродь, что, как захочу табачку понюхать, перво наперво щелкну Наполеошку в нос. А потом потрясу, да раскрою, да захвачу щепоть, да отправлю в нос, да нюхну, да чихну — будьте здоровы, Ваше Императорское Величество!

... Дали мне в ветеринарной части работенку не пыльную - чистенько, аккуратненько переписать ведомости конепоголовья. Корплю. А на одной странице глаза даже на лоб полезли! Тихонько начальнику сую. А там - кличка "Гитлер", а чуть подальше - "Император". .. Это энкаведевских лошадей-то!!!

Начальник смеется:

- Вот почтенными именами - никак нельзя. Работяга в лесу как лошадь ласкать начнет? - "Куда прешь, Гитлер трепаный!", или "Опять стал, Император, падла, погибели на тебя нету!"...
Пишите: согласовано!

КОМЕНДАНТ

Появился у нас новый комендант - пенсионерка. Странноватая, резкая. Другие ее невзлюбили, а ко мне она расположилась; то ли лета одни, то ли на мне тоже какая-то печать пережитого...

Как-то приходит она на работу больше обычного взвинченная. Остались одни, я и спрашиваю:

- Что с вами?

- День памятный! Тридцать лет мне в это число не по себе!.. Муж мой прокурором был. Я тоже там работала. А потом мужа взяли - и сгинул. Меня из партии вычистили, с работы сняли, а потом ночью пришли: "Выходи!" Собраться не дали. Схватила девочку и соску - и вышла. Двери за мной опечатали, а меня - в фургон. Там полно таких, как я. Мне с ребенком место в углу уступили. По дороге к нам еще добавляли. Темно, дышать нечем. Куда везут - никто не знает. Хорошо, дочка притихла. А у меня слезы текут, в голове мутится, ничего не соображаю, только шепчу, что в голову пришло: "Мать Пресвятая Богородица, помоги! Владычица, если ты есть, помоги!"

Фургон остановился. Отперли дверь: "Вылазь!" Я хотела встать - не могу. Ноги отнялись. Гляжу с испугом, прижимаю девочку и шепчу. Голова всунулась: "Все вышли?" - и исчезла. Дверь заперли, а я и крикнуть не могу. Сколько просидела окаменевшая - не знаю.

Опять дверь открыли и кто-то влез: "А ты почему здесь?!" - "Ноги отнялись, встать не могла!" - "А, черт! Ну, сиди!" - ушел. Пришел: "Счастье твое, этап уже отправили!" - Сел рядом,

и мы куда-то поехали. Остановились. — "А теперь можешь встать? Выходи!" Вышла. Гляжу — обратно к дому приехали. Отпечатал мой спутник квартиру: "Бери, что тебе нужно, только побыстрее!" Собрала узел, сколько снести могла. — "А теперь иди на все четыре стороны!" — Опять запер и запечатал квартиру. Я ему чуть не в ноги кланяюсь, руку хочу поцеловать, спрашиваю, как его имя. — "Зачем тебе?" — "Молиться буду каждый день за тебя!" — "Выдумала! Ну, Сычов... Иди, иди!" — Он уехал, а я пошла в дворницкую. Спасибо, не выгнали.

Устроилась истопницей, потом сторожем, дворником, — кем только не работала. Дочку вырастила. На пенсию вышла..."

Тут нам помешали...

На другой день приходит зареванная, опухшая:

— Всю ночь не спала! Зачем я вам рассказала? Дайте слово, что никому не скажете!

Я успокаиваю ее, а она смотрит враждебно. А через день уволилась.

МИШКА

В 1937 году пришли за соседом. А уходя — на всякий случай заглянули и к нам:

— Ох, и книга! — Вытащили одну. — Гумилев? Так... А кто его читает?!

Борька, самый младший, высунулся:

— Я читаю!

— Ты? Интересно! Надо проверить, что за человек! Пойдешь с нами.

Но тут Мишка — колоссальный человек! — сказал:

— Он ведь не только Гумилева читает, он и Библию читает — вон стоит!

— Ты что, правда, Библию читаешь?

— Правда!

— Всю?

— Всю!

— Ну, ты рёхнутый!...

И не взяли Борьку.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ФОРМА

Перед концом срока товарища моего и начальника — оба мы работали в плановой части: он руководителем, а я рядовым экономистом — премировали. Сшили ему в лагерной мастерской суконную синюю форму, стачали сапоги, смастерили фуражку. Нацепи только "аспирины" (белые блямбочки), тюремные знаки отличия, — и готов "гражданин начальник". Товарищ был рад костюму, но оставаться по вольному найму не хотел и уж совсем не думал, что через премию эту ему неприятности выйдут. Освободился он 5-го июня 1941 года. Спросили: "Куда?" — "В Бердянск!" Так и оформили и прогонные дали. А почему Бердянск? Потому что ни в один мало-мальски крупный город не пускали. А про Азовское побережье в зоне говорили, что и работу найти можно, и не очень придираются, да там и тепло.

От Печоры до Котласа ехал мой товарищ "живопырккой" — дорога только еще строилась: то шпалы развезаются, то насыпь осыпается. Однако ехал, а не пешком шел, как пять лет назад.

От Котласа до Вологды экономии ради на пароход сел. Там на палубе и про войну услышал. Растерялся... Все же намерения заглянуть хоть на денек в Ленинград не оставил. Поздоровался с родными, прикоснулся душой к обломкам прошлого — и к месту назначения.

В Москве на Курском ночью облава: "А билет есть!?" — "Вот" — "Ну, гляди, чтоб духу твоего не было!..."

Добрался он до Бердянска. Вышел на Вокзальную площадь. Куда идти? Решил для начала побриться.

Парикмахер стрижет и бреет, а сам все отлучается. Намылит щеку — и жди. Наконец кончил. Вышел побритый на порог — милиционер:

— Пройдемте, гражданин!

Привели к начальнику:

— Ваши документы?!... Ну что мне с тобой делать? Вот свалился на мою голову! Где будешь жить?

— Не знаю!

— Сейчас война. Вот тебе 24 часа, пропишись и устройся на работу! Не устройся — приходи, в моем кабинете ночевать будешь. А переодеться есть во что?

— Нет.

— Ну, ладно, иди!

Городок небольшой. Жизнь кажется нормальной. На базаре, в магазинах все есть. Только курортники разъехались. Квартир много. "Пожалуйста!" — А как глянут на паспортину — "Извините, сами понимаете!" Весь городок обошел. И столько раз останавливали, милиционеру предъявляли! Конечно, оно ничего, а всё неприятно.

Под вечер попал к двум старушкам. Те не погнушались, чай пить с собой усадили, заспорили, у кого из них жить будет. Всё расспрашивают: видно, ТАМ у них самих кто-то есть.

А девушка — одной из хозяек дочка — в саду. То мелькнет, то исчезнет. Потом идет к террасе, а за ней милиционер... — "Вот!" — "Ты, — говорит милиционер, — так я же его, девушка, знаю! Он у нашего начальника еще утром был! Мы его за день наизусть выучили. Так что прописывайте, не бойтесь — не украдет, хоть и из тюрьмы. Не по тем статьям! А вы бы, гражданин, что другое надели!" — "Да в чем дело?" — "А в том, что по радио сказали: немцы под Мариуполем десант в милицейской форме собрали. А ваша одежда вроде форменной, вот и сомневаются!..."

А он-то думал, что у него такого на лбу написано?!

Прописался. Костюм сменил. А на работу не берут. Университет когда-то кончал, кем только не работал еще на воле, не говоря уже о лагере... Любая работа не пугала, но: "Что вы, батенька, в такое-то время на наше производство! Идите, идите..."

Ходил, ходил. Под конец зашел в ремонтно-строительную контору. Семья начальника — Саладин. Тот сперва обрадовался: "Нужны люди, очень нужны!" А как глянул на четыре буквы в справке — КРГД — перекосялся даже. И сказать ничего не может. Руками замахал.

Куда? — К отцам родным! Те за тебя в ответе. Глаз не должны спускать. И пока не приказано ликвидировать — помогут.

Приходит он к тому же начальнику: "На работу не берут!" — "У кого последнего были?" — "У Саладина!" — "Минуточку... — Саладин? Саладин, был у тебя такой-то? ... Знаю, знаю! Устрой!.. Ни, ни, ни!"

Сначала был штукатуром, потом прорабом. Школы в госпитали переоборудовал. Только бригада день ото дня таяла: всех на фронт берут, его обходят. Раз повестку прислали — обрадовался!

Взяли паспорт, послали на сборный пункт за город. А вечером говорят:

— Нате ваш паспорт, идите!

Только под осень его в саперную часть взяли. Ну, уж тут всех, под метелку...

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

"Рассказы доктора"

Зимой прошел слух — важную персону к нам в Чибью везут. Действительно, через несколько дней в зону пришел управленческий автобус. В нем старуха и четырнадцать чемоданов. Все коменданты собрались, носят в избушку, где главбух жил. Его попросили. Распоряжение самого начальника — Мороза Якова Моисеевича!

Урки глядят — зубами щелкают. Но опасаются.

Старуха в самом деле важная. Говорят, подпольщицей была, к Ленину за границу ездила. Мужа осенью вместе с Зиновьевым расстреляли, а она в политизоляторе сидела.

Начальство, как и урки, осторожничает. Видно, нет ясных указаний. На всякий случай заботу проявляет — насчет помещения, питания. Дневальную дали. Из пошивочной ткани принесли — старуха все перещупала. А сама требует то того, то другого, — настырная!

Вскоре слегла — дизентерия. В стационар положили. Главврач около нее, завотделением. А она их отшила. В соседней палате было слышно, как костит: "Ренегаты вы, купленные души!.."

Я тогда от этапа отстал. По болезни. Поправился, а все по стационару проходил. Числился больным, а работал внештатным врачом. Зовут меня: "Николай Александрович, попробуйте! Может, вы с больной контакт найдете?!"

Старуха враждебно: "Вы кто? Врач? Заключенный? Статья? КРПД? А работаете! Режим поддерживаете. За пайку продались?!" — и пошла...

Не ухожу — пусть выговорится.

Потом я: "Софья Васильевна! У меня жена и дочурка есть — в ссылке. И для них я должен выжить. А потом, если со мной обошлись несправедливо, я должен забыть, что я врач? И не помогать таким же, как я? И как можно не работать, если желаешь остаться человеком?!"

Не прогнала меня старуха.

В следующие визиты смотрит на меня не так колоче. Но безбоязненно поносит высшие власти, а к местным — совсем непочтительна: "Вот вы всё носитесь — Яков Моисеевич, да Яков Моисеевич! Царь и бог! Шишка на ровном месте! Как был, так и остался — Янкель Фрост!"

Через неделю обращается: "Доктор, не сплю! О дочери думаю. Девочка еще. В политизоляторе вместе были, а теперь разлучили. Как-то она, где-то она?!"

Выпсалась старуха. Вижу издали около избушечки. Слышу — бунтует. Требует, чтобы с дочерью соединили. А здешнее начальство этого не может. Уговаривает.

Распсиховалась Софья Васильевна. Форменную голодовку объявила. Заявление подала.

Администрации — неприятность. Не скроешь. Отчетность замаяна. Перед Москвой отчитывайся, шифровки давай...

Взяли из избушки, поместили в больницу, где одни вольные — врачи и персонал. Искусственное питание применили. Голодаи — не голодаи ... Так и кончилось ничем.

Из больницы уже не в избушку, а в общий барак перевели...

Как-то летом вижу: у вахты этап формируется. Конвой колонгу пересчитывает, бирки на дощечке ставит. Нарядчики с пакетами суетятся. А сзади — подвода. Ворох соломы, а на нее стрелки старуху сажают. Ту самую. Она растрепана, кричит, руками машет. Фростная — ну, боярыня Морозова!

Чемоданов видно не было...

... Еще раз, и последний, увидел к весне, далеко на севере.

Захожу в медпункт. Как пациент. В приемную вводит конвой двух этапниц. Обморозились: погода неблагоприятная была. А на женщинах бушлатишки третьего срока, насквозь светятся, штаны ватные — как собаки рвали, валенки огромные, портянки из подошвы вылезают. Головы тряпьем замотаны.

Стоят бабки у печки, разматываются, ногами топают, рукавицы сушат. Пар идет и паленым пахнет.

Одна вглядывается: "Здравствуйте, доктор! Не узнаете? А вас вспомнила, разговоры наши. В Кочмесе сестрой в стационаре работала, в себя приходиться стала. Да вот, ведут куда-то!"

Вохровец наставил на меня штык: "Отходи! Не разговаривай с этапными!"

Я кивнул и вышел.

Потом узнал, что вели их на Старый кирпичный.

Возврата оттуда не было.

"Обыкновенные рассказы"

СТАРАЯ КОНТРА

Собрали наш изыскательский отряд из одних заключенных. Придачу вольного стрелка дали. Послали в тайгу на весь сезон.

Стрелок первые дни начальство из себя корчил. Потом обтерся, иногда и забывали, что вохровец.

А завхозом у нас жизнерадостный "дид" был. Лет семидесять а крепкий на диво. Географию в школе преподавал. А нашим урокам по ночам все "небесные зодии" показывал. Они это любили.

В ранней молодости дед чуть ли не в народовольцах состоял. На царской каторге был, бегал с нее, даже в Австралии побывал, опять попадал. Так до 17-го года.

Как-то повествует об этом старик. С азартом, точно вновь переживает. А стрелок винтовку чистит. Слушает внимательно. Смотрит не то с восхищением, не то с профессиональным неодобрением. Потом не выдерживает:

— А и вредный ты! Еще при Николашке контрреволюцию раздувал!

ШПИОН

Тюрьма южного городка. В общей камере появляется новенький зубной врач. Осматривается. Соображает. Явно не хочет, чтобы с ним приволакивали.

В кабинете следователя бух на колени:

— Ай, не бейте, гражданин следователь! Лучше по-хорошему! Все подпишу, только восемь лет!

— Что ты порешь, ...!?

— Я совсем не порю, гражданин следователь! Ну, какой вам нужен? Ну, я сознаюсь! Только по-честному, чтобы не больше восьми лет!

Следователь понял. Шевелит губами: "японский есть, английский есть, немецкий...":

– Ты афганистанским шпионом будешь!

– А передачку можно?...

Оба довольны. Один без хлопот, другой без синяков. Да еще и передачи.

Финал – восемь лет. Следователь оказался порядочным.

БОЧКА

Из кухни выкатили железную бочку из-под конопляного масла. Пустую. А тут доходятся пасетя. Увидел бочку – нашел кусок проволоки, оторвал лоскут от бушлата, навертел на проволоку – отличный квач!

Водит квачом по нутру бочки и обсасывает тряпицу. Морда – жирная! Выражение – блаженное! А в глазах таятся: "Не подходи, мое! Я нашел!"

И все уважают...

ПОЛИТИКИ

В камере среди типичной пятьдесят восьмой статьи – "гнилой интеллигенции" – затесались два уркагана. Яркие, удивительно не подходящие.

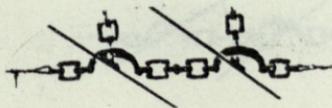
– Вы здесь как?

– Всё, трепанье, толкуете, что ни за что сидите, а мы за что!..

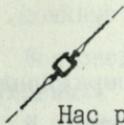
Оказывается, один балда на неприличнейшем месте звезду пятиконечную вытатуировал, а другой – додумался! – свастикку!

Первому – пять лет за дискредитацию.

Второму – пять лет за фашистскую агитацию.



БАНЯ



Нас разделяет большой чертежный стол. Мы вдвоем — я и мара. Остальные вышли, а вольные вечером не работают. Глядя на Тамару — тоненькую, бледненькую, гладко причесанную, с навсегда испуганными глазами, а она вспоминает:

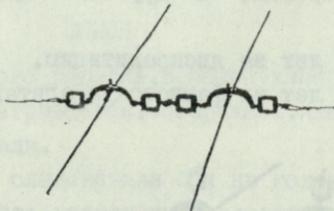
— Как однокурснику, что приставал, по морде дала — рассказывала. Как он донос написал, и меня взяли — тоже. И как отец через газету отрекся... Все знаете. А вот про баню еще не рассказала. Двадцати ведь мне не было. Девочка-девочкой. Все при маме была...

Нашу общую камеру в баню повели. Для меня — в первый раз. В предбаннике должны все вещи связать и в мыльню пройти сквозь двух дядек. Им узел сдать, от них мыло и пайку получить. А дядьки одежду в вешалку снесут.

Шум стоит. Женщины проходят — совестят, матерятся, боскалят. А я не могу. Оцепенела. Плачу. Как же я, нагая, к мужчинам подойду? Осталась одна. Дядьки говорят:

— Что ты, дочка, не плачь! Рази мы по своей воле? Такие, как ты, да и в отцы тебе!... Ну, проходи, отвернем глаза закроем!

Прошла...



ДВОЕ

В одной камере сидел председатель горисполкома Махмуд, в другой — инструктор обкома Вахтанг. Махмуда били, но он не подписывал ничего, а Вахтанг всё подписывал.

Тогда говорят Вахтангу:

— На очной ставке с Махмудом скажешь: 13 июня 1937 года в 10 часов вечера в саду дома № 15 по Первомайской улице, когда мы с Махмудом были в гостях у Мирзо-заде, я завербовал Махмуда в англо-турецкую разведку. Понял? Помни!

На очной ставке спросили Махмуда:

— Вы его знаете?

— Да. Это Вахтанг.

— Личные счета между вами есть?

— Нет.

— Вахтанг, повторите свои показания!

— 13 июня 1937 года в 10 часов вечера, в саду дома № 15 по Первомайской улице, когда мы с Махмудом были в гостях у Мирзо-заде, я завербовал Махмуда в англо-турецкую разведку.

— Махмуд, подтверждаете показания Вахтанга?

— Подтверждаю. Только, гражданин следователь, Вахтанг не до конца разоблачил себя. Он скрыл, что после того, как он завербовал меня в англо-турецкую разведку, я завербовал его в японо-германско-итальянско-американскую разведку!

Внесли в протокол. Больше не допрашивали.

Обоим по десяти лет.

Махмуд выжил.

МИНИСТР



Дверь камеры лязгнула:

- Встать!

Встать не так просто. Лежим на полу вплотную, поворачиваемся по команде. Как-то приподнялись. А на пороге - всекто наш Алиев...

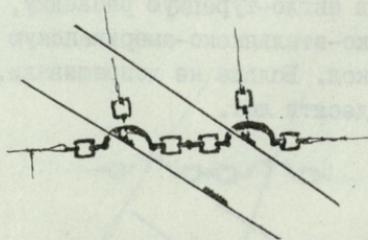
- Чего орешь!?

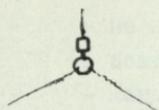
- Встать, собаки, когда с вами министр разговаривает! Меня сейчас на допросе в будущие военные министры произвели! А если так - на полу валяться не желаю! Хочу на койку!

Кто ругается, кто зубоскалит, а я с койки сполз, вижу Алиев еле на ногах держится...

- Ложись!

Не знал я тогда, что через неделю и меня "произведут". Уже в президенты... Исламской республики Дагестан!





КРОКОДИЛ

Допрашивают геософку. Мужчина в мундире кричит, на стуле подскакивает, а женщина на табуретке съезжается. Только глаза все больше и больше.

Вдруг, после особенно забористого мата, женщина поднимается, умоляюще складывает руки и просит:

— Пожалуйста, перестаньте. Нельзя так. Вы в будущей жизни крокодилом будете!

Следователь застыл, сплонул и приказал отвести арестованную в камеру.



СМИРЕНИЕ

Старый батюшка рассказывал:

— Следователь приказал раздеться. Снял я одежду. И бандаж от грыжи. Одни очки на мне. Стыжусь наготы. А следователь обошел, да как ударит сзади! Упал я. Поднимаюсь на карачки, очки шарю — без них не вижу. Грыжа выпирает. Боль и недоумение. И мысль: я—то, несчастный, смиренным себя считал! Других наставлял! Тут, кажется, научат меня настоящему смирению...

СЫНОЧКИ

Семидесятипятилетней игуменье дали двадцать пять лет. Старуха сказала судьям:

— Спасибо, сыночки! Сколько проживу — отсижу. Остальное вам останется!

В печатном тексте приговора срок был исправлен на десять лет.



СТИХОТВОРЕНИЯ

АВГУСТ

И, прощаясь со мной,
 улыбнись обязательно,
 приветствуй рождение дорожного знака:
 не предупредительного, не указательного...
 всего лишь... повествовательного -
 - точки, бредущей по линии тракта.

•

Возьми мяту на память, я засуду подорожник и хватит,
 праздник должен кончаться, на то он и праздник,
 принц в колеснице тебя увозет поутру...

он погонит коней, не заметив
 листа подорожника в небе,
 он тебя поцелует, не почувствовав запаха мяты.



А меня заговорили
 от железа и от камня,
 от огня и от воды...
 Мне теперь огонь не страшен
 и железо - как солома,
 камни я легко кидаю
 и бежит меня вода...

Только грустно почему-то
 очень грустно.

Составление: "Сумерки",
 рисунки автора.

Круглые крышки люков -
глаза моего двора.

мне мама говорила:

- не наступай, ты можешь провалиться,
а доктор спрашивал:
- Когда ты ходишь по земле,
боишься трещин?

и мама говорила: - Не наступай...

А в люках что-то капало, бурлило,
весной туда бежали лужи,
и на сухом асфальте
чертили мелом классики девчонки,
и вся-то их игра была:
"не наступай".

Слова гудели, словно мухи,
и доктор спрашивал:

- Боишься? -

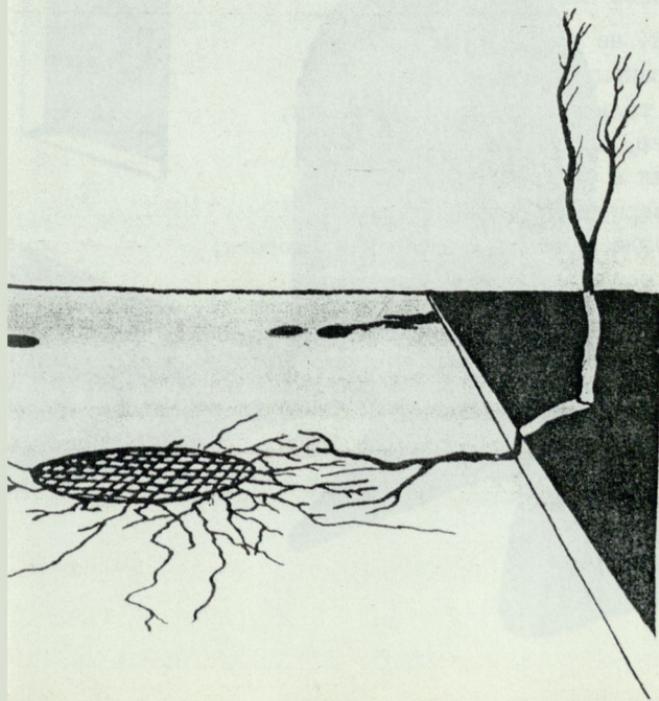
ножом грозил из-под халата,

и листья падали -

- и осень наступала,

а мама говорила:

- Не наступай, ты можешь провалиться.



... тут Вовочка поднимает
руку и говорит...
/из народных анекдотов/

От плиты начинается пустыня,
и как только песок остынет,
выползают тараканы,
они вылизывают следы жизни -
- здесь жизнь не оставляет глубоких следов.
Она пользуется костылями и костыляет...

... мальчик Вова в школу идет,
его папа придурок,
а мама б...
он получил сегодня пять,
он получит сегодня опять -
- сплевывает окурок...

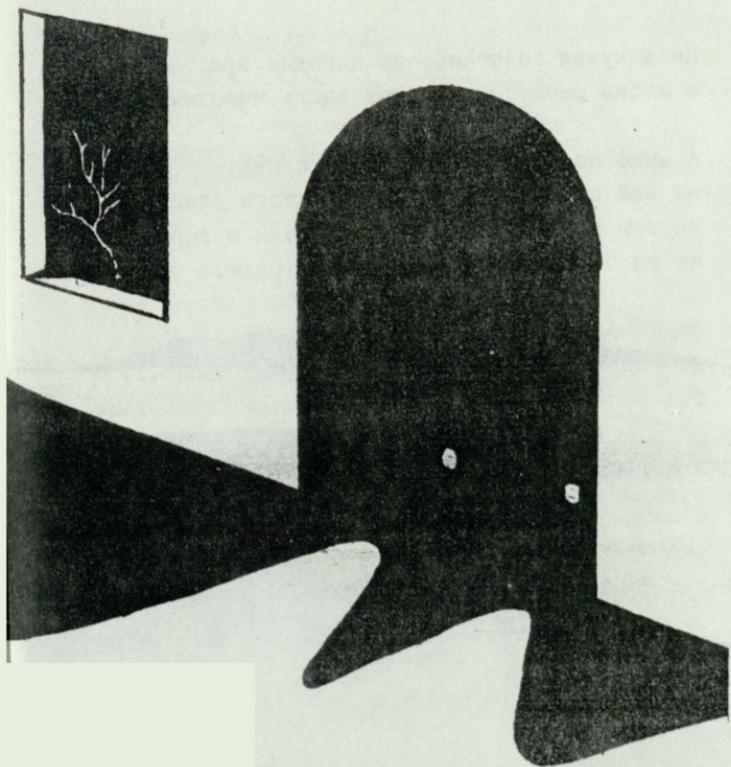
Есть такая игра: орел - решка,
проиграешь - и в белые ночи - тьма крошечная,
лишь синее пламя плиты в коммунальной кухне,
лишь синяя мигалка снаружи и крик: "Щухер, менты!",
лишь синее небо над головой:

- Милая, не уходи, будь со мной,
я не приношу счастья, и ты
видишь только одну сторону монеты,
а другую, съеденную тараканами,
я бросил в раковину-реку,
чтобы вернуться сюда,
ибо, когда жизнь идет по ровной дороге,
она не оставляет ни одного следа.

... Мальчик Вова в школу идет,
дальше - следует анекдот,
дальше - смех, водка, трах,
а там и умирать...

и снова: "Вова, утро уже, тебе в школу пора!"

Часто кажется: впереди - ночь
и позади - ночь,
ветер носит снежинки - сплошная вода,
меня приглашают.
Чужие праздники, чужая трава и чужое вино.
Часто кажется,
что мои руки - красные снегири
давно живут внутри лестничной клетки,
греваются в ребрах - батареях,
но не поют.
Никогда не поют.



Я попросил стеклодува
сделать мне шар стеклянный,
говорят, он приносит счастье...

Шар был настолько легким,
что его унесло под крышу,
там и разбилось
мое стеклянное счастье.

Теперь осколки
хрустят под ногами.
А я учу сына
выдувать мыльные пузыри.



Не докучал советами, не заводил врагов,
и жизнь свою проветривал вдоль невских берегов.

А мимо по течению скамеечка плыла,
на ней сидели мальчики из чистого стекла,
внутри горели лампочки, сверкали пузырьки,
но он был зачарован движением реки.

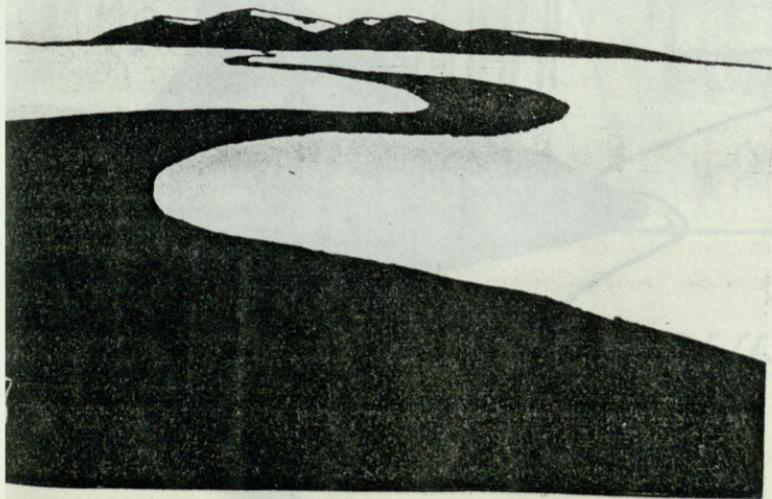
Вода мазутоглазая, молочная сестра,
на острова прекрасные его с собой звала...
теперь на той скамеечке одни лишь старики...

а он всё зачарован движением реки.



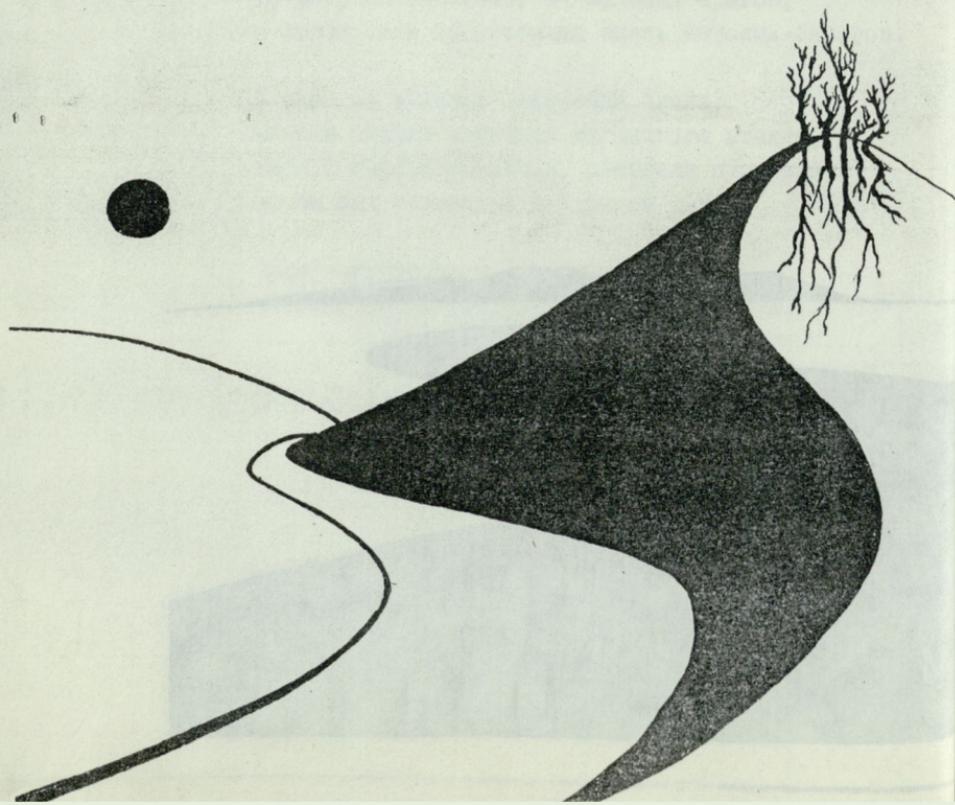
Вот и холмы появились,
так что не за горами...
жаль, что тропинки вытеся
из ущелья в ущелье,
и ни одной на вершину...

Ты писал мне о перевалах,
где лежит чистый снег,
а в ущелье быстро темнеет,
словно уходишь под землю,
кажется трещиной небо,
и теряют смысл тропинки.



Несколько голых деревьев
покрывают вершину холма,
на закате их длинные тени
словно дороги к сердцу холма.
Мне не взойти на вершину,
только дрожащей рукою
смахнуть паутинку на подоконник
и смотреть, как синяя дымка
ползет по склонам.

Холмы подбираются к самой двери...
Собаки
не замечают их.





ГЛАСНЫЕ и СОГЛАСНЫЕ

ЧЕРЕЗ МОНТАЖНЫЙ СТЫК

/ Андрей Тарковский

Александр Сокуров /



режиссёр Александр Сокуров, поэт Юрий Галецкий, западногерманские кинокритики Гертруда Кох, Симона Маренхолц, Петер Хомунг, Ойген Харманн, Э.Ш. - спровоцированный диалог о кинематографе

"Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым.

Оттого, что все еще впереди,

все еще возможно..."

Андрей Тарковский "Зеркало"

...Он, конечно, счастливый человек — тем, что он точно — судьбой был направлен и — попал в эту профессию. Она дала ему возможность реализовать весь потенциал личности его. Все, практически все, на что этот человек был способен. Но за это судьба сократила жизненное пространство, сократила жизнь. Я думаю, что жизни его могло быть и семьдесят лет, и семьдесят пять, и восемьдесят. Он постепенно приобретал спокойствие, уходила суета...

==

/Александр Сокуров/

Фильмы Тарковского ждали — ждали фильмы именно Тарковского. Как никого другого. Это факт небывалый. Каждый фильм, задолго до выхода, превращался в миф; идущий "на Тарковского" имел своё представление о невиденном. Ждали все — в ком не угасла интеллигентность. Ибо личность Тарковского есть классический девятнадцатого столетия портрет российского интеллигента. В этом — обаяние личности. В мире неинтеллигентном человек идет на риск быть вызывающе интеллигентом. Кинематограф Тарковского интеллигентен; это труд, воспитанный культурной традицией. И, главное, кинематограф Тарковского — кинематограф Тарковского, подчеркиваю. Меня, помнится, в своё время ужасающе раздражали "домашности" — скажем, в "Сталкере", когда Кайдановский неожиданно провозглашает как стихи Дикобраза известные строчки Арсения Тарковского. Теперь я понимаю.

==

/Юрий Галецкий/

Он существует в традиционной русской классической культуре, и в этом его прекрасное качество. Он не является — для меня — кинематографическим новатором. Все, что есть у него, взято в значительной степени из русской литературы, из русской поэзии, картины его многословны. Не будь за этим Толстого, Достоевского — этого бы не было. Мы знаем, что были у него какие-то предпочтения кинематографические, был и культ природы, культ прикосновения к природе, пристальное всматривание в неё, культ фундаментальных вещей, но первоисточник всего — литература. Откройте любую описательную страницу русской классики — и все станет ясно.

==

/А.С./

Несмотря на то, что Сокуров посвятил ранние картины памяти Андрея Тарковского, очевидно, что его не столько соединяет с последним некий романтический мистицизм, сколько так же сильно разделяет своевольный фрагментарный стиль. Все три фильма* раздвигают повествовательную структуру как литературного первоисточника, так и документально выписанной биографии. Своеобразный визуальный композиционный стиль Сокурова в корне порывает с конструктивистскими отцами советского авангарда: эпизоды фильма, которые текут мимо нас нескончаемой рекой, не имеют ни центра, ни однозначного кадра, зачастую создают перспективу средневековых икон, от которых они будто бы восприняли желтый колорит. Шатающейся пружиной раздражающего мира картин Сокурова является попытка децентрировать пространство и убрать его границы, создать тонкую игру близкого и далекого, при которой, кажется, упраздняется любая линейность. Пространственно разделенное монтируется друг с другом — город состоит из реально действующих миниатюр, через которые бежит герой /.../. Основное настроение, которое вызывает Сокуров, — это то, в котором царит депрессивная мечта расширить себя в пространстве до бесконечности и при этом не потерять себя. То, что под эстетической концепцией скрывается мрачно-мистическое ожидание счастья, в "Днях затмения" находит выражение не только в сложно зашифрованной символике, но и /прежде всего/ также в мизансценах. Внимание неожиданно концентрируется всё вновь и вновь на прекрасной атлетически-танцевальной экспрессии фигур главных героев, они оказывают парализующее действие благодаря внезапным скачкообразным движениям или погружаются в композиционный беспорядок в симбиозно-чувственное отношение друг к другу. Светловолосый, вероятно, четырёхлетний мальчик подхватывает желание спастись, как будто проекция главного героя, когда занимает место писателя за его пишущей машинкой.

==

/Гертруда Кох/

*

"Одинокий голос человека", "Дни затмения", "Мария".

Как человека я ценю его для моей судьбы гораздо более, чем как художника. И как человек мне он гораздо ближе, чем как художник. Это я точно знаю. Это не априорное знание, но знание, происходящее из личного общения. Содержательного и длительного.

/А.С./

Андрей Тарковский любил этот фильм /"Одиноким голос человека"/. /.../ Фильм-сокровище. Требующий напряжения, терпения и концентрации, но вознаграждающий /.../ В основе сюжета лежит история Андрея Платонова "Река Потудань". Однако Сокуров создал весьма независимый образный язык. Вновь и вновь используется кинохроника 20-х годов, на старых фотографиях прослеживаются исчезнувшие черты лиц погибшего класса, тайны молодых и старых, передается ужас и ужасная красота изнурительной физической работы. Замедленная киносъемка, цветовые контрасты, монтаж, музыка, съемки пейзажей и характерные эпизоды придают внутреннему миру героев большую выразительную силу и создают тем самым зачастую картины захватывающей дух красоты.

/Симона Маренхольс/

Эстетика Тарковского эстетична, в ней: красота - явление этическое, "образ правды" (в переводе интервью - "символ правды", но, мне кажется, не так: Тарковский и символика - особая тема, но само слово "символ" в контексте всего сказанного им кажется здесь неуместным, поэтому, может быть, я ошибаюсь, но: "красота - образ правды"). Позиция художника есть позиция проповедника. В сущности всё сделанное Тарковским - проповедь красоты. Живопись, музыка, поэзия - явления красоты. Этим, возможно, и магичен кинематограф Тарковского. Фильм длится после того, как свет в зале включен; он - в тебе, с тобой, возвращаясь вновь и вновь - живописностью, музыкальностью картин мироощущения Андрея Арсеньевича.

/Ю.Г./

Мне кажется, серьезной, принципиально серьезной картиной Андрей Арсеньевич сделать не успел. Очень много сил, времени, энергии, воображения отдавалось борьбе с обстоятельствами, самим собой. Полжизни не было жилья, потом не было средств существования, потом — непрерывная возня и конфликты с государством и еще большая возня и конфликты с коллегами — всё это приводило к колоссальным потерям. Творческим потерям ...

==

/А.С./

Я верю не в политические силы, а в деятельность отдельных людей и в конкретные добросердечные усилия конкретных добросердечных людей.

==

/А.С./

Но как сделать, чтобы с этой молодежью пришли также философия, человеческая правда и добро и чтобы отношения в профессиональной среде не оставались резкими и жестокими, что, к сожалению, имеет место... Когда придет новое поколение, появятся также и новый советский фильм, при условии, что это поколение будет талантливым. Иначе не помогут никакие политические условия.

==

/А.С./

То, что делал Тарковский, есть слово о голосе частного, коллективного человека. Была наивная попытка примирить катаргу и скрипку, было страстное желание соединить крест и безумные глаза ребенка-убийцы, было, непонятное, кстати, монашество и русский, забредший из Достоевского, Христос. Но от эпических попыток Тарковский ушел в камерный мир частных чувств и сокровенных мыслей. От военных, от "исторических" толп — в бытия нескольких людей. Андрей Тарковский первым в здешнем кинематографе (государственном, идеологическом) отказался от массы во имя лица. Он устремился быть свободным мыслителем — к свободомыслию, которое есть не иллюзия обстоятельств, но существо личности, он устремился к личной свободе мысли.

==

/Ю.Г./

"Одинокий голос человека", в течение 10 лет скрываемый Сокуровым, в своём земном тяжелом мистицизме, в своей эстетике — еще полностью во власти Тарковского. Фильм содержит прежде всего волшебную прекрасную, легко и воздушно поставленную, по-сокуровски нетипично острую сцену. Двое молодых героев, Люба и Никита, вступают в брак по новым, скупым на церемонии, советским законам. Регистрация стоит два рубля, однако плохо одетая служащая не может дать сдачу с пяти рублей: "Вы должны подождать, пока сегодня кто-нибудь умрет, это тоже чего-то стоит, тогда я смогу разменять деньги".

==

/Петер Хомунг/

"Одинокий голос человека" общим построением, мотивами эпизодов, ритмом напоминает фильмы Тарковского. В "Днях затмения" Сокуров предлагает другой стиль. Его описание космического вавилонского смешения языков остается ассоциативно и фрагментарно незавершенным, в желтых и коричневых тонах растекается река апокалипсических картин, которые наслаиваются друг на друга и возникают одна из другой.

==

/Карл-Ойген Хагманн/

Мы пытались делать художественную картину. Мы понимали, что в наших руках остросоциальный материал, но мои личные пристрастия лежат не в области политики и не в области социальной. Я убежден, что должны быть пути художественные. Видит Бог, что все сделано чистыми руками, с великой любовью к нашему отечеству и скорбью о тех бедах, которые у нас есть. Мое глубокое убеждение, что самые сложные и противоречивые обстоятельства, которые есть в каждой жизни, растворены всегда в повседневности, потому что каждое утро мы начинаем с того, что чистим зубы, а вечером падаем лицом в подушку, не зная, как жить...

==

/А.С./

Потому что мы можем быть интересны друг другу лишь тогда, когда сохранится все наше культурное своеобразие. Пока мы остаемся русскими, или Вы - немцами, лишь до тех пор мы интересны друг другу. Если национальные особенности растворятся или исчезнут, мы перестанем интересоваться друг друга. Тогда останутся лишь Бах и Гендель - все, что когда-то было, не то, что есть сегодня. Интернационализация культуры ужасна, очень ужасна.

==

/А.С./

Фильм "Дни затмения", возникший в 1988 в благоприятных государственных условиях, в расцвеченных охрой картинах показывает пребывание молодого врача в изгнании между Западом и Востоком. Кошмарно сказочные картины вскрывают хрупкий фундамент мультикультурного многонационального ландшафта, отображают безвыходное положение отдельного человека в поисках жизненного пути в таком конгломерате.

==

/Э.Ш./

Болезнь его была болезнь российская, она перенесена отсюда, она не там зародилась. Он буквально вывез её с собой, т.е. в прямом смысле - физически - раковые клетки - поскольку то, что происходило в его отсутствие здесь, касающееся его, дало болезни дополнительную прогрессирующую энергетику - и уже никакой Бог не мог помочь. Зловредные клетки распоясались до предела в организме незащищенном, в отчаявшемся теле.

==

/А.С./

Трагично, что последние картины его сделаны за пределами страны, где он родился, потому что и в "Ностальгии", и в "Жертвоприношении" - есть победы европейской стилистики, европейского образа мышления над художником российским. Профессиональная западно-европейская художественная среда победила. "Жертвоприношение" - знамя такой победы, компромисса художественного между российски воспитанным человеком и художником и тем давлением, которое оказала на него современная коммерческая модернистская европейская культура.

==

/А.С./

Очень многое, по крайней мере в России, зависит от того, есть ли среди молодых режиссеров верующие люди. Это означает - имеют ли люди, обладающие какой-либо религиозностью, внутреннее религиозное сознание. Если такие не формально, а действительно верующие люди, придут в искусство - не в экономику, не в промышленность, - если эти верующие, религиозно восприимчивые люди придут, - не важно, православные или католики, тогда можно будет сказать, что это принесет спасение. Они будут иметь право на работу в искусстве. А другие нет.

/А.С./

Только частный человек честен. Нет коллективной честности. Коллективного покаяния. Или - прозрения. Только частный человек прав. Нет правоты большинства. Как нет правоты власти. И общество тогда лишь не стадно, когда оно - сообщество личностей, сообщество людей частных. Ибо частность есть судьба. Тарковский оставил нам это: либо мы идем к миру индивидуальностей, либо - никуда. К первобытной общинности. В доисторию. В стае, в толпе душе, конечно, удобно, но перед Богом она отвечает не за толпу и стаю - только за себя.

/Ю.Г./

Если бы Бог даровал ему **ещё время**, то, **наверное**, в его лице появился бы более сформировавшийся философ в кинематографе. Не абстрактный философ, но - философ кинематографа...

/А.С./

"Искусство несёт в себе тоску по идеалу. Оно должно поселять в человеке надежду и веру. Даже если мир, о котором рассказывает художник, не оставляет места для упований".

Андрей Тарковский

Василий Горюнов

В ПОИСКАХ СТИЛЯ

/беседа о модерне*/



Вопросы культуры конца XIX – начала XX века в настоящее время очень актуальны. Связано это с тем, что мы снова приближаемся к рубежу веков, и, сколь бы ни был этот рубеж формален, приходится констатировать, что определенная повторяемость событий все же имеет место. В том, что касается архитектуры, этот интерес имеет более определенный смысл. Он связан с кризисом функционализма и с теми творческими поисками в архитектуре, которые происходят в настоящее время. Характерной особенностью нынешнего этапа развития архитектуры является то, что все новые концепции в той или иной степени связаны с оценкой сделанного в XX веке и на рубеже веков. При этом именно в зависимости от этой оценки формируются новые теоретические и творческие концепции.

Ряд теоретиков и архитекторов считают, что современная архитектура, – ~~имеется~~ в виду генерация конструктивизма и функционализма, – еще не исчерпала свои внутренние потенции и может их развивать; другие теоретики, которые группируются, так сказать, в широком русле "постмодернизма", утверждают, что то, что современная архитектура принесла с собой – лишь случайность, результат злонамеренной деятельности узкого круга архитекторов, а истинный путь развития архитектуры был прерван в 20-е годы появлением функционализма и конструктивизма, и следует сейчас обратиться к опыту эклектики и модерна с

* Запись беседы, состоявшейся 17 декабря 1989 года в редакции "Сумерек".

тем, чтобы восстановить преемственность.

Но исследования модерна наталкиваются на большие сложности вследствие острой противоречивости этого явления. Скажем, в советских исследованиях обычно настаивают на том, что архитектура модерна выражала демократические тенденции в развитии архитектуры. И, действительно, наличие таких тенденций в архитектуре модерна отрицать нельзя. Но тут же выясняется, что на архитектуру модерна оказывали чрезвычайно мощное влияние элитарные направления искусства — и этот факт отрицать тоже невозможно. Другое утверждение: в архитектуре модерна проявились тенденции к органическому пониманию архитектурной формы. И, действительно, именно в архитектуре модерна тенденции органического формообразования проявились более ярко, чем где-либо в истории архитектуры. Но мы обнаруживаем факты, показывающие, что в архитектуре модерна (и близких видах искусства) существовал принцип прямо противоположный: принцип неорганичности, принцип не естественности, а искусственности, принцип нарочитого противопоставления, скажем, свободной формы и формы геометрически определенной и ясной. Можно приводить все возможные определения модерна, и мы тут же обнаружим, что существуют прямо им противоположные. То же самое происходит, когда мы пытаемся дать какую-то стилистическую характеристику памятникам. Существует ли вообще возможность дать какие-то общие характеристики этого явления, или мы должны заниматься исключительно описанием различных памятников? Такая работа может быть очень увлекательной, но нам сейчас архитектура модерна интересна не сама по себе — она должна дать урок современной архитектуре. В связи с этим встает вопрос: что же это за архитектура? с каким исследовательским инструментом к ней можно подойти?

Из сказанного выше ясно, что следовать по пути эмпирического описания различных памятников и, может быть, даже различных школ, в конечном итоге бесперспективно для понимания этого явления в целом. Встает задача — создать некий методологический механизм, который бы позволил рассмотреть это явление не просто исторически или эмпирико-исторически, а историко-теоретически.

Вопросы методологии истории и частных исторических наук, среди которых и история архитектуры, довольно активно исследовались последние 10–15 лет, но сам изучаемый предмет диктует определенные принципы исследования.

Сейчас существует два подхода к истории архитектуры и их сопоставление образует то, что я называю основной методологической проблемой частных исторических наук. Проблема эта заключается в следующем:

От чего зависит развитие архитектуры или какого-либо частного исторического процесса? Либо от некоей внутренней потенции, т.е. это явление можно рассматривать как спонтанный процесс, закономерность которого заключена внутри него; либо можно рассматривать данное явление, как развивающееся под воздействием внешних факторов. Сейчас в истории архитектуры как науки существует противопоставление этих двух подходов. На мой взгляд, существует возможность объединения этих подходов на основе представления об истории архитектуры как органическом процессе. С этой точки зрения, весь процесс развития архитектуры рассматривается подобно развитию некоего биологического объекта. С одной стороны, биологический объект развивается по своим внутренним законам (генетический код), с другой стороны, эти закономерности могут быть реализованы только через взаимодействие со средой. Никакого другого способа реализации внутренней закономерности нет. Отсюда следует методический вывод. Сначала исследуются истоки, т.е. такое состояние данного явления, в котором исследуемый объект заключен как бы потенциально, а затем исследуются условия, при которых потенциальная возможность появления данного объекта становится актуальной действительностью. Поэтому начнем с истоков модерна.

Модерн имеет своим истоком, по существу, всю традицию предшествовавшей архитектуры, причем не только европейской, но и восточной. Мы же начнем от классицизма и его распада. Почему мы установили именно такое ограничение, будет ясно из последующего изложения.

Итак, конец XVIII – начало XIX века – период тотального господства классицизма в европейской архитектуре. Что представляла собой его теоретическая доктрина? Мы можем сказать

это вполне четко, т.к. классицизм был достаточно хорошо структурирован и в понятиях, и в своей форме.

Первое. Законы красоты могут быть познаны и затем воплощены в произведение искусства исключительно путем рационального мышления.

Второе. Онтологическое понимание красоты, т.е. представление о том, что красота есть нечто объективное, совершенно независимое от человека, что она есть такое же свойство объективного мира, как свойства физические и химические. Однако не всё, что окружает человека, красиво. Красота как бы растворена в природе. Красиво только то, что закономерно, устойчиво, вечно, а то, что преходяще, случайно — некрасиво. Теоретик французской архитектуры Лажье говорил, что красота как золотой песок в грязи, и задача архитектора — собрать золотой песок и из него создать произведение искусства.

Третье. Ориентация на античность. Для архитекторов классицизма типичным было убеждение в том, что эта красота, растворенная в природе, была уже когда-то выявлена архитекторами античности, и потому не нужно заниматься особенно изучением природы, а нужно изучить те памятники, которые остались от прошлого, и на их основе можно создавать истинно прекрасные произведения.

Последний пункт этой системы, замыкающий ее, так сказать, в замок — каноны классицизма. Изучалась античная архитектура. Рациональным методом, прежде всего методом математики, геометрии, отвлекалось нечто общее, универсальное, и создавались каноны. Одним из первых классицистских канонов был трактат Франсуа Blondel-старшего, первого ректора Королевской Академии архитектуры, созданной в середине XVIII века. Трактат, ставший, по мнению Грабаря, документом, поработившим умы архитекторов многих поколений. Он напоминал чем-то нынешний СНиП (Строительные нормы и правила), от него ни на шаг.

Классицистической концепции соответствовала архитектурно-художественная система классицизма. Кроме ордерной системы, которую традиционно применяли архитекторы классицизма, главное в ней это то, что они распространяли правила геометрической правильности, регулярности построения не только на общую композицию здания, но и на внутреннюю его организацию.

Это придавало особое качество произведениям архитектуры классицизма, которое называли "единством плана и фасада". При обозрении такого здания снаружи можно было представить себе и его внутреннюю организацию чисто визуально, может быть, не в деталях, но в каких-то крупных элементах. Вот это качество классицизма — ясность, читаемость во всех его элементах, — с любой стороны к симметричному зданию подойди, и можно оценить его целиком и полностью, — являлось важнейшей стилистической особенностью.

Теоретическая концепция классицизма подверглась очень серьезным деформациям уже в эпоху Просвещения. Само развитие классицизма привело к острым внутренним противоречиям.

Приведу только несколько примеров. Классицизм делал установку на античность. Конец XVIII — начало XIX века — период бурного изучения архитектуры античности. Оказалось, что античная архитектура столь многообразна, что не может быть сведена к абстрактному геометрическому канону. Ни один канон, который был создан архитекторами, не совпадал с конкретными памятниками. Каков был выход из этой ситуации? Выходов было два. Отказаться от подражания античности и перейти к чистому геометрическому моделированию, отвлечься от реалий и создавать идеальные геометрические формы. По такому пути пошли архитекторы так называемого "революционного классицизма" Леду, Буле. В их проектах появились шары, пирамиды — отвлеченные, идеальные формы. Был и другой путь. Отказаться от геометрических построений и просто перейти к подражанию конкретным памятникам. Персье и Фонтен — архитекторы, которые строили в эпоху Наполеона, пошли как раз по такому пути. Дальше — больше, они рассуждали так: Для жилого дома форма античного храма не очень подходит. В поисках более подходящих образцов можно обратиться к архитекторам Возрождения (которые тоже опирались на античную традицию). И, скажем, формы ренессансных палаццо гораздо легче могут быть приспособлены для жилого многоквартирного дома, чем античный храм. Таким образом, появляется принцип выбора, который станет главенствующим в эпоху эклектики.

Это только некоторые противоречия, которые возникли в

классицистической теоретической доктрине. А вот что происходило на практике. Поздний классицизм начал распространять свое регулирующее влияние с одного здания на город в целом. Для позднего классицизма характерно создание ансамблей, в частности, у нас в Петербурге. В результате, если ранее здание представляло собой единство плана и фасада, то теперь появляются здания, которые сами по себе такой цельностью не обладают.

Улица Зодчего Росси. Театр построен по всем законам чистого классицизма. А дома, фланкирующие улицу? Они представляют собой, по существу, просто кулисы, лишь фасад классицистический, за которым ничего прочесть невозможно.

Характернейший пример — и здание Главного Штаба Росси. Посмотрите на него, стоя лицом к фасаду, а затем зайдите слева, и вы увидите такой острый угол, который демонстрирует со всей очевидностью, что вся эта гигантская плоскость есть не что иное, как декорация. Иными словами, распространение классицизма с одного локального объекта на городскую среду в целом, приводит к отказу от важнейших его стилистических оснований, и, в конечном итоге, именно внутреннее развитие классицизма явилось главным фактором, приведшим к его распаду, а отнюдь не влияние эстетики романтизма и не конкуренция неоготики, которая к этому времени появилась. Большинство архитекторов классицизма, даже русского классицизма, строили разные псевдогоthicеские здания, но оставались классицистами в своих основных главных сооружениях.

Архитектура классицизма оказалась столь устойчивой внутренне, что она пережила не только эпоху классицизма в других видах искусства, скажем, в живописи, но и пережила эпоху романтизма и умерла, когда и романтизм уже закончился, т.е. в начале 40-х годов.

Конечно же, роль романтической концепции искусства была велика, но ее переоценивать нельзя. Вместе с тем, становление архитектуры эклектики проходило под самым непосредственным влиянием романтической концепции. Многие авторы отождествляют эклектику и романтизм. На самом деле все обстоит сложнее.

Действительно, широкое обращение к историческим источникам, которое было характерно для эклектики, характерно и для романтизма. То отрицание всяческих канонов и заранее принятых внешних формальных принципов, которое характерно для эклектики, характерно и для романтизма. Но есть одна принципиальная вещь. Эстетика романтизма принципиально не приемлет категорию пользы. "Презренная польза", — как говорили романтики. А категория пользы для эклектики — одна из фундаментальнейших категорий.

Прежде всего надо остановиться на развитии теоретической мысли эпохи эклектизма. Теория этого периода чрезвычайно многообразна. Она может быть рассмотрена как некая область, заключенная между двумя критическими, но противоположными во многих существенных отношениях направлениями теоретической мысли — романтическим и рационалистическим. Критика эклектики началась, по существу, с момента ее возникновения.

Нужно сразу сказать, что и романтики и рационалисты ставили эклектике, по существу, один и тот же "диагноз". За что, собственно, ее критиковали? За то, что в архитектуре эклектики осуществляется полный раскол между утилитарно-практическими и художественными сторонами архитектуры. Форма и функция не совпадают, конструкция и форма разорваны. Следствием этого является полный хаос формотворчества и, главное, отсутствие стилистического единства. А раз отсутствует стилистическое единство — значит, художественный упадок, невозможность создать нечто художественно ценное.

Романтики предлагали отказаться от новых методов строительства и вернуться к прежним традиционным методам, методам средневековья, методам народной архитектуры. Джон Рескин, глава этого направления в Англии, вообще отрицал возможность применения металла в архитектуре, допуская лишь в крайних случаях свинец и бронзу, — но это все, что может позволить себе архитектор, потому что промышленность оказывает разлагающее влияние на искусство и на архитектуру, в частности. Причем критика искусства, архитектуры, социального строя того времени была очень глубокой у представителей этого направления, и в этом смысле они внесли большой вклад и в развитие

теории архитектуры, и в осмысление художественного процесса эклектизма.

Что же касается рационалистов, то они считали, что некое будущее единство технических и художественных средств архитектуры может быть достигнуто путем такого изменения архитектурной формы, которое бы приблизило эту форму к новым техническим средствам.

И те, и другие (к рационалистам принадлежали такие выдающиеся теоретики и архитекторы как Виоле ле Дюк во Франции, Готфрид Земпер в Германии) критики эклектизма видели вероятность преодоления эклектики на путях создания стиля. Характеристика и романтического, и рационалистического направления в целом может дать общую характеристику всей теории архитектуры того времени, но любопытно посмотреть, как же мыслили себе пути развития архитектуры сторонники эклектизма. И вот среди сторонников был замечательный французский теоретик, общественный деятель, эстетик, писатель, издатель книг по архитектуре, философ Сезар Дали. Он считал, что эклектика в художественном отношении это, конечно, плохо, но эклектика является лишь инструментом, причем необходимым, для перехода к новому стилю. Он считал, что в понятии эклектики фиксируется противоположность вообще всякому стилю. По его мнению, в архитектуре образуется некий стиль, потом он начинает распадаться, начинает преобладать эклектика, но именно этот период позволяет прийти к новому стилю.

Что, собственно, есть модерн, с точки зрения самых общих представлений? Это есть не что иное, как появление в практике архитектуры мощного антиэклектического движения. Другими словами, то, что раньше существовало только как теоретическая критика эклектизма, в конце XIX - начале XX века приобретает практические формы. Вопрос заключается в том, чтобы показать, каким образом этот новый этап уже практической критики эклектики связан с предыдущим этапом ее теоретической критики, и на этой основе определить основные тенденции в архитектуре модерна.

Когда я говорил о том, что существовало два критических направления теоретической мысли середины XIX века, рационалистическое и романтическое, я несколько упростил картину.

Дело в том, что каждое из этих направлений в процессе своего развития дифференцировалось. Как бы раздваивалось. Если говорить о романтическом направлении, то здесь произошло следующее. Существовала линия позднего романтизма, которую возглавляли Джон Рескин и его ученик Вильям Моррис, но в 60–70-е годы в этой художественной школе возникла достаточно мощное движение, движение художников и архитекторов, которые были не согласны с морализаторством Рескина, утверждавшего, что главное – это моральные основы искусства. Они считали, что мораль не имеет отношения к искусству и главное в искусстве – это красота. Они вели активную полемику с Рескиным по этому поводу. Эта полемика велась длительное время, причем она приобретала большую остроту, вплоть до судебных процессов (Был такой знаменитый судебный процесс, когда художник Уистлер – один из "оппозиционеров" – подал в суд на Джона Рескина за то, что тот в одной из критических статей не признал его художником. Надо сказать, что процесс этот Рескин проиграл, и на этом его доминирующее положение в английском искусствознании закончилось). Вот эту группу "еретиков" возглавил Оскар Уайльд, правда, не с самого начала, а несколько позже. Это течение имело свои аналоги и во французском искусстве, и в других регионах. Это то направление, которое смыкалось с эстетикой символизма. И то направление, в котором в наибольшей степени проявились иррационалистические тенденции в искусстве, а через влияние этого направления на архитектуру, и в архитектуре.

Что же касается рационалистического направления, то в нем в наибольшей степени сохранились рудименты классицистической эстетики. Ведь с распадом классицизма классицистическая традиция не исчезла совершенно. (Вообще, классицистическая доктрина, особенно в архитектуре, чрезвычайно живуча. Она подобна сиве в болоте: она уже под поверхностью, но постоянно имеет тенденцию обнаруживать свое присутствие). Рационалистическое направление в наибольшей степени сохранило классицистические представления, и в 90-х годах классицистическое направление начало отслаиваться от рационалистического. И когда встал вопрос, каким образом противостоять элек-

тизму, как его преодолеть, то здесь просто не мог не возникнуть вновь классицистический идеал — идеал абсолютного стиля.

Вот те внутренние предпосылки, которые привели к появлению модерна в архитектуре. Или скажем шире: к появлению широкого антиэклектического движения. Они были поддержаны определенными тенденциями, которые возникли в конце XIX — начале XX века в обществе в целом, в том числе в экономике. Например, немецкая электротехническая компания "АЭКС" оказала самое прямое и непосредственное влияние на развитие модерна в Германии. Произошло это примерно следующим образом. Эта компания пригласила к себе молодого, подающего надежды архитектора Питера Беренса для того, чтобы он создал некий стиль продукции этой монополии, который был бы лицом фирмы, причем этот стиль должен был быть лишен ярко выраженных национальных признаков, потому что продукция поставлялась на мировой рынок. В идеале же должен был быть создан некий наднациональный, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно универсальный стиль продукции. Здесь ясно видно, что потребность создания стиля была заключена в самом новом экономическом механизме. Разумеется, нельзя все сводить только к экономическому механизму, но, тем не менее, факт остается фактом: определенные экономические предпосылки стилеобразования в архитектуре существовали.

Но на мировой рынок выходила не только продукция крупных монополий, выходила, например, продукция ремесленных предприятий, которые должны были конкурировать с продукцией мощных фирм. И вот здесь уже стояла другая задача. Скажем, русские мебельщики вывозят свою продукцию на мировой рынок. Какую форму должна эта продукция иметь, чтобы оказаться конкурентноспособной с массовой промышленной продукцией развитой Германии? Она как раз должна иметь уникальную форму, обладать национальными чертами, чтобы именно за эту форму, за ее "русскость", так сказать, ее и покупали, потому что она никакими потребительскими преимуществами не обладала. Таким образом, наличие многоукладности диктовало, с одной стороны, появление интернациональных стилистических образований, с другой стороны — появление локальных, национальных стилей. Но в любом случае, потребность стиля нарастала не только как желание тео-

ретиков и архитекторов, но и как нечто объективное.

Произошли изменения в художественной и идеологической области. Здесь необходимо отметить, причем это будет непосредственно связано с самой идеологией модерна, что к концу XIX века наступает кризис позитивизма, и на смену позитивизму приходит как главенствующее направление "философия жизни". Позитивизм вообще претендовал на роль философии науки, воплощал в себе эмпирический дух позитивного знания. Это была практически ориентированная философия, в высшей степени соответствовавшая идеологии эклектики. — Некая деталь, некий фрагмент, достаточно точно изученный, формально понятный, может быть использован в архитектуре.

"Философия жизни" пыталась противопоставить такому фрагментарному научному мышлению некое целостное осмысление реальностей действительности. По существу, речь шла о попытках найти гармоническое единство человека и природы, понять место человека в некоем постоянно развивающемся космосе; и основной идеей "философии жизни" была идея всеобщего синтеза, объединения человеческой личности, человеческого общества и природы. И эта идея синтеза оказала самое непосредственное влияние на эстетику эпохи модерна и на теорию архитектуры.

Рядом с "философией жизни" развивалось неокантианство, особенно в Германии, которое также было ориентировано антипозитивистски, но несколько иначе, чем "философия жизни" подходило к проблеме человека, природы и общества. Это была попытка возродить традиционный способ философствования, который завершился в немецкой классической философии, но вместе с тем не было полного совпадения проблематики "философии жизни" и неокантианства, они были как бы дополняющими друг друга доктринами. Неокантианство стало философской основой возрождения классической традиции в искусстве рубежа веков.

Наряду с идеей стиля, которая уже бытовала в теории архитектуры, в конце XIX века проблема стиля оказалась теснейшим образом сопряженной с идеей синтеза, т.е. считалось, что стиль может быть достижим только путем синтеза, причем синтез многоуровневого, синтеза, скажем, различных архитектурных элементов в единое целое. Путем синтеза архитектуры и других

видов искусства, до глобального культурного синтеза. (Эта идея возникла довольно рано, скажем уже у Рихарда Вагнера, в его известной концепции *GESAMT KUNSTWERKE*, но в конце XIX века она очень широко распространилась и внедрилась в теорию архитектуры). Вот эта концепция стиля-синтеза явилась ядром теории архитектуры модерна. Существовала определенная идейная общность в широком архитектурном многообразии, и, вместе с тем, разные архитектурные школы, разные архитекторы искали свои пути преодоления эклектизма и выхода к искомой цели — к стилю и синтезу.

Теперь перед нами встает основная проблема, с которой сталкивается любой исследователь модерна, пролистав первые книжки, посмотрев первые здания: проблема классификации направлений. Если подходить к этой проблеме эмпирически, то таких направлений можно насчитать сотни и тысячи. Можно пойти по пути характеристики различных школ, как сейчас делают многие исследователи, но это все равно не дает нам целостной картины этого явления. Представляется, что основными направлениями архитектуры модерна должны считаться те направления, которые сформировались как критические по отношению к эклектизму еще в середине XIX века и которые могут быть охарактеризованы следующим образом. Первую пару составляют рационалистическое направление и ему противоположное иррационалистическое, или в художественной практике того времени — символистическое. Второй парой противоположностей являются неоромантическое направление и его антипод — неоклассицистическое.

Такое деление не является произвольным. Во-первых, оно выведено генетически при анализе истоков модерна. С другой стороны, эти направления в данной трактовке образуют некую систему, что заставляет предположить, что такая схема может оказаться универсальной при наложении ее на реальный процесс развития архитектуры. При этом очень важно подчеркнуть, что речь идет не о четырех направлениях, а о четырех основных тенденциях. Реальные памятники, которые приходится анализировать, в редких случаях точно совпадают с одним из направлений, они чаще всего есть сочетание различных тенденций. Можно привести массу примеров сочетания рационалистическо-

го и иррационалистического, классицистического и неоромантического. Но такая схема дает понятийный каркас, который позволяет описать любое явление в истории архитектуры модерна. Т.е. она дает определенную категориальную систему, в коей и происходит описание, причем систему не произвольно взятую, а определенным образом и исторически, и теоретически обоснованную. Графически эта схема может быть представлена следующим образом:



И последнее. Какое место занимает архитектура модерна в общеевропейском архитектурном процессе. На уровне нашей сегодняшней беседы я могу высказать только гипотезу.

На мой взгляд, архитектура модерна есть то, что завершает собою огромный цикл развития архитектурной традиции, начиная от античности: причем включает в себя не только традицию европейскую, но и традицию восточной архитектуры, (о чем я здесь, к сожалению, не мог сказать). К сожалению, я также был лишен возможности показать, как вот эти рационалистические, классицистические, символистические и неоромантические тенденции проявляются в искусстве этого времени, а не только в архитектуре. Иными словами, архитектура модерна, с одной стороны, есть логический этап развития предыдущей архитектуры, с другой стороны, она есть неотъемлемая

часть общего историко-культурного процесса, и в этом смысле она, конечно, коррелируется со всеми другими видами искусства.

Основной задачей модерна было создание универсального стиля. Справился ли модерн с этой задачей? Нет, не справился. Если взглянуть на антиэклектическое движение в архитектуре конца XIX – начала XX века в целом, то оно было весьма "эклектично" в том смысле, что оставалось достаточно стилистически разнородным и противоречивым. И потому, я считаю, что модерн – это есть продолжение периода эклектики, это есть особый этап в развитии эклектики, который характеризуется наличием антиэклектических тенденций. Чтобы это не показалось вам парадоксом, могу сказать, что та эпоха развития капитализма, которая совпадает с эпохой модерна, также имеет внутри себя нечто противоречащее предыдущему этапу, так, например, появление монополий сокращает поле свободного рынка, но это еще не значит, что новый этап полностью отменяет предыдущий. С другой стороны, весь этап эклектики и модерна целиком может рассматриваться как завершающий достаточно большой период, который начался еще в эпоху Ренессанса. Почему именно этот период? Архитектура Ренессанса – это первое в европейской архитектуре направление, которое сознательно обратилось в прошлое. Именно эта тенденция через классицизм, эклектику, модерн прошла до 20-х годов XX века, и, вместе с тем, эта эпоха, от Ренессанса до функционализма, на мой взгляд, завершает еще более обширный цикл, начавшийся в эпоху античности. Для меня значение периода модерна оказывается именно в этом – в завершении всей предыдущей культурной традиции. Я не специалист в культурологии, но у меня есть подозрение, что конец XIX и начало XX века также был периодом, завершившим огромный цикл развития европейской культуры, европейской цивилизации.

Чем же закончилась эпоха модерна? Что происходило с модерном? Вот эти 4 направления начали сближаться. При этом происходит их постепенное поглощение рационалистическим. Это очень хорошо заметно на деятельности такой организации, как немецкий "WERKBUND". Он объединял сторонников всех направ-

лений модерна, но внутри этой организации они постепенно сближались. И даже такой "ортодокс" как Ван дер Вельде — один из пионеров иррационального, декоративного модерна — приходил к признанию необходимости рациональной архитектуры, подчинения архитектуры законам технологии, подчинения архитектурной формы формам конструктивным, причем новым конструктивным. Процесс сближения всех тенденций шел на фоне определенных изменений в идеологической сфере. Уже внутри "философии жизни", причем у самых ее истоков, появились тенденции, которые в своем развитии привели к тому, что было ей же прямо противоположно. Основоположником "философии жизни" считается Ницше. Мы все знаем, что Ницше выдвинул культ сверхчеловека, сверхличности, которая стоит вне моральных законов и уже навязывает свою волю миру. К концу XIX, особенно в начале XX века, эти волюнтаристские тенденции усиливаются, причем происходит своеобразный ренессанс позитивистско-механистического мышления. В эстетике кубизма и особенно футуризма появляется апология техники и технического прогресса. Футуристы пишут о необходимости механического человека с заменяемыми частями, философы ищут оправдание личности, которая могла бы диктовать свои законы миру, могла вырваться из царства необходимости в царство свободы (это по Марксу). В II-ом "Тезисе о Фейербахе" Маркс сказал о том, что раньше философы объясняли мир, теперь задача мир изменить. Этот тезис классическую формулировку получил у Мичурина: мы не можем ждать милостей от природы, а должны взять их у нее. Этот образ мыслей, идеология подобного рода, стали очень сильно влиять на эстетику, и, в частности, на эстетику архитектуры. Вспомните, что происходило в это время в искусстве? Именно концепция конструирования реальности доминировала. Таким образом, идеология авангардизма (а она действительно связана с искусством авангарда, — тут нужно четкую грань проводить между модернизмом и авангардизмом, потому что модернизм — это все-таки модерн, авангардизм — это уже нечто начинающееся с кубизма) — вот эта идеология, идеология волюнтаризма, идеология навязывания своей воли реальности, — она и стала источником того, что мы называем современной архитектурой. Можно к этому относиться по-разному, но то, что такая точка зрения логически вытекала из всего предыдущего

го хода развития, для меня лично несомненно.

Чем же завершился модерн? А модерн завершился реализацией мечты теоретиков, которые еще в прошлом веке заявляли, что стиль может осуществиться при максимальном сближении технической и художественной стороны архитектуры. И вот наступил момент, когда эта цель была достигнута, архитекторы стали говорить, что архитектура — это не искусство, что это своеобразная техника и что правильное конструирование технических аспектов архитектуры уже само по себе приведет к искомому художественному результату.

С одной стороны, мы идеала достигли, но, с другой стороны, мы утратили специфику архитектуры. Архитектура ведь как раз и есть несовпадение, определенная свобода формы, свобода от технических аспектов, если такой свободы нет, никакого искусства архитектуры быть не может.

И вот наступило то, что в диалектике называется перерывом постепенности, архитектура как бы исчезла. Этот момент качественного перехода, момент превращения в новое качество, получил в архитектуроведческих трудах название революции в архитектуре. Первым этапом этой революции было отрицание всего предыдущего. В идеологии функционализма процветал воинствующий антиисторизм. История — это ничто. Только сейчас мы создаем подлинную архитектуру. Но тут же появился момент второго отрицания — отрицания этого тезиса. Скажем, вот Веснины в журнале "СА" пишут о том, что раньше считали, что строгое следование техническому заданию уже само по себе дает эстетически ценный результат. Но сейчас отказываются от этого. И ищут чисто художественные средства для создания художественно полноценного сооружения. А где взять эти средства, на каких путях? А на путях, которые уже пройдены архитектурой. И вот здесь на новом уровне стали проявляться те тенденции, которые были уже раньше. Вновь становится лидером современной архитектуры Райт, которого функционалисты, как и всех прочих архитекторов модерна, выкинули за борт. Вновь в архитектуре начинают проявляться классицистические тенденции, регионализм эксплуатирует неоромантические традиции и так далее и тому подобное, до тех пор, пока мы не пришли к современному этапу, когда уже

прямо заявляем, что кроме эклектики, ничего хорошего нет.



- Обращаясь к Петербургу, к петербургскому модерну, - были какие-нибудь удачные попытки национального, регионального модерна, на основе русского?

- Мнение наших крупнейших искусствоведов (Сарабьянова): русский модерн не имел собственных истоков. С этим я совершенно не могу согласиться. Собственные истоки были, они обнаруживаются в деятельности, скажем, абрамцевской колонии, в создании многочисленных неорусских стилей, - это все истоки модерна. Другое дело, что в России неоромантическая линия не получила свободного развития. Может быть, она просто недостаточно еще оценена. Работы Шуко, Косякова, - это примеры модерна, основанного на русской традиции, у Косякова еще на византийской.

Русские архитекторы прекрасно знали европейскую архитектуру того времени. Они очень живо откликнулись на малейшие веяния за рубежом. Можно найти в петербургской архитектуре влияния всех крупнейших мастеров модерна. Вкладом русских архитекторов в архитектуру модерна нужно считать разработку русской национальной темы и своеобразный русский неоклассицизм, который очень характерен именно для России, такого неоклассицизма, как неоклассицизм Фомина, Таманяна в Европе не было - он ориентировался на наш родной "посконный" классицизм, а неоклассицизм Лидваля - это уже неоклассицизм средне-европейский.





- Оцените, пожалуйста, переделку конструктивистского Дворца Первой пятилетки в классицистический, сталинский.

- Изменилась идеология. Конструктивистские формы оказались вдруг "космополитическими". Прямое непосредственное воздействие идеологии.

- Почему архитектура оказалась неспособной противостоять идеологизации?

- Она никогда не могла противостоять. Когда диктатор, правитель скажет архитектору делать с колоннами, он и будет делать.

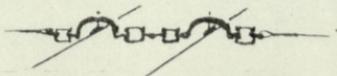
- Равно как и другое искусство.

- Другой вопрос, почему этому диктатору классицистические формы в большей степени по нраву, чем конструктивистские. Дело в том, что в классицизме больше, чем в каком-либо другом стиле проявляется выражение абстрактного порядка. Не порядка, связанного с практикой, с нуждой, скажем, порядок в бригаде для того, чтобы тачать сапоги, а порядка как такового. Вот поэтому и Сталин, и Гитлер, и Муссолини, - они любили классицизм.

Есть еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, когда мы говорим о советской неоклассике. Дело в том, что для нормального развития конструктивизма требуется определенный уровень развития, развитая техническая база, а мы пришли к тому способу производства, каким строились дворцы в Риме. Моего возраста люди помнят, что любая стройка в Ленинграде была обнесена забором с вышкой.

- Или эски, или пленные немцы.

- Поэтому мы могли построить Дворец Съездов и не могли обеспечить людей жильем. Вот пирамиду при этом способе производства построить можно, а построить дома... Потому что ведь к каждому эску не поставишь часового. Днепротэс, прорыть канал - это можно, а массовое жилье построить - нельзя.



ОБ ОДНОМ ПРИЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИМЯПОТРЕБЛЕНИЯ
(*nomina sunt odiosa*)

Так называемый "эффект значимого отсутствия", как известно, наблюдается в самых разнообразных сферах человеческого опыта, и одним из наиболее выразительных и постоянных проявлений его в области речевой деятельности можно, по-видимому, считать ситуации неупотребления предполагаемых по контексту сообщения имен собственных (как правило, антропонимов; ср. многочисленные случаи из истории дипломатии или, скажем, подцензурной публицистики). Практика использования собственных имен в художественной литературе знает немало подобных ситуаций, и отказывать им в статусе объекта исследований поэтической ономастики едва ли разумно: идейно-стилевой потенциал имени, функционирующего исключительно в "плане содержания" текста, весьма значителен и более или менее отчетливо ощутим в процессе правильно организованного восприятия сообщения.

Сказанное проиллюстрируем несколькими примерами умышленного неупотребления имени в контекстах, предполагающих его обязательную реконструкцию.

В 4-й главе "Театрального романа"^I между редактором-издателем Рудольфи и писателем Максудовым, булгаковским *alter ego*, происходит следующий диалог:

" - Толстому подражаете, - сказал Рудольфи.

Я рассердился.

- Кому именно из Толстых? - спросил я. - Их было много...

Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаичу?"

Смысл эпизода заключается, вероятно, в том, что, хотя Рудольфи не уточняет, какого Толстого он имеет в виду, мнительный Максудов подозревает в словах редактора самое невы-

годное для себя сравнение и, естественно, негодует. Возмущение его вызвано еще и тем, что употребление фамилии "Толстой" без имени и отчества как будто предполагает (по мысли Максудова) уверенность современников в существовании одного-единственного писателя Толстого. (И, действительно, история около-литературной жизни 1920-х-30-х гг. знает множество курьезных случаев, когда А.Н.Толстому приписывали авторство "Иоанна Дамаскина" или "Князя Серебряного"², а склонный к розыгрышу писатель иногда сам провоцировал подобное "неразличение"³, справедливо полагая, что это не может повредить его собственной известности. Ср. в этой связи ироническое заглавие мемуарного очерка Бунина - "Третий Толстой", а также характеристику, даваемую в романе Каверина "Скандалист, или Вечера на Васильевском острове" одному из героев, прототип которого без труда угадывается: "Русскую литературу он считал завещанной себе, и старинная фамилия, которую он носил, поддерживала в нём это убеждение"⁴).

Реплика Рудольфи "Толстому подражаете" и стоящие за ней представления современников об истории русской словесности вызывают резкое сопротивление булгаковского автогероя. По мнению Максудова, оба упоминаемых в его перечне писателя могли бы претендовать на "подражание" с большим правом, чем тот, кого имеет в виду Рудольфи⁵. Имя же этого, "одного-единственного" Толстого оказывается для Максудова настолько одиозным, что не просто исключается из перечня "известных Толстых", но и издевательски замещается в нем именами двух Толстых-неписателей.

И уже в следующей главе романа, как бы подтверждая читательскую догадку, появляется *mutato nomine* иронически выпущенный образ "благополучно прибывшего из-за границы знаменитого литератора", рассказывающего скандальные истории из жизни русской эмиграции.

Итак, предполагаемое по контексту имя отсутствует, но это отсутствие обставлено таким образом, чтобы в процессе восприятия текста имя могло быть легко восстановлено и идентифицировано со своим носителем. (Специалистам по интерпретации разного рода "оговорок" непременно бросилось бы в глаза

еще и то обстоятельство, что первое слово в максудовском перечне ("Алексею...") вместе с последним ("...Николаичу") как раз и дают ответ на вопрос "Кому именно из Толстых?", однако квалифицировать это "совпадение" как своего рода аллюзию не представляется обязательным – в распоряжении читателя и без того достаточно данных для "опознания".)

Другой, сравнительно более сложный, случай использования приема *nomina sunt odiosa* обнаруживаем в повести А.М.Ремизова "Павочка"⁶, содержание которой варьирует "петербургскую тему" русской литературы и организуется взаимодействием ключевых в ремизовской картине мира мифологем воды и огня, причем если мотивы воды эксплицированы (в описаниях начинающегося наводнения и рассуждениях о роли водной стихии в человеческой жизни), то мотивы огня присутствуют в форме скрытых намеков – в беседе архивариуса Корявки и надворного советника Галузина о предполагаемой женитьбе последнего:

" – Женитесь, Иван Александрович, деточки у вас пойдут..

– Старший, Александр, будет у меня богатырского сложения, вот какой!

– Александр Великий! – Корявка тянул себя за свою козью бородку, – и я, как Сенека... буду ему служить!

– То есть ... Гераклит.

– Сенека, Иван Александрович, всегда был Сенека, великий учитель. При святом князе Владимире – Нестор Летописец, При Петре Великом – Арап, при Александре Македонском Сенека находился".

Как нетрудно заметить, ни одна из упоминаемых здесь связей между реальными историческими личностями не является подлинной, кроме разве что "Петр I – Ганнибал", да и она в этом контексте кажется фиктивной, тем более что Ганнибал все-таки не был наставником Петра). Однако диалог введен отнюдь не с целью характеристики объема и состояния исторических сведений в памяти героев повести.

Уже само упоминание имен двух античных философов в столь тесном соседстве вводит в текст мотив огня, актуализируя известный факт переключки воззрений Сенеки с соответствующими элементами системы Гераклита Эфесского – учениями об огненной

психее и об огне как первооснове сущего⁷. А далее читатель вовлекается в игру "припоминаний", причем автор подсказывает ему ложные ходы. "Спор" героев и предлагаемый ряд квази-соответствий задают неверную инерцию поиска: читатель ставит перед собой вопрос: "Как звали наставника Александра Македонского?", — однако даже правильный ответ не приближает к пониманию авторских интенций, определивших столь странный подбор имен. Неудовлетворенный таким итогом читатель, если он достаточно терпелив и искушен в решении головоломок, обязательно изменит стратегию поиска, оценив ситуацию по-новому. Неоднократное упоминание Сенеки как "великого учителя" позволяет переформулировать исходный и неправильный вопрос: "Как звали наставника Александра Македонского" — в окончательный и правильный: "Как звали воспитанника Сенеки?". В результате ответом будет имя "Нерон", а оно, по верному расчету Ремизова, в читательской памяти включено во вполне определенный круг культурно-исторических ассоциаций.

Таким образом, читатель, оказавшийся в состоянии усмотреть в тексте загадку и правильно ее отгадать, вводится в сложную систему ремизовской историсофии, допускающую "странные сближенья" — между петербургскими наводнениями и римским пожаром, крещением Руси и гонениями на христиан.

И, наконец, еще один пример из Ремизова. Рассмотрев его "сон", озаглавленный "Обезьяны" и представляющий собою рефлекс индивидуальной писательской мифологии — "обезьяньей утопии". "Сновидец" и одновременно участник изображаемых событий — "предводитель шимпанзе" (прообраз героя ряда ремизовских произведений — обезьяньего царя Асыки Первого⁸) повествует о несправедном суде и жестокой расправе, учиненных на петербургском Марсовом поле над согнанными со всех концов света обезьянами. Финал "сна":

"Когда же Марсово поле насытилось визгом и стоном, а земля взбухла от пролитой обезьяньей крови, а крещеный и некрещеный русский народ надорвал себе все животы от хохота, прискакал на медном коне, как ветер, всадник, весь закованный в зеленую медь. Высоко взвившийся аркан стянул мне горло, и я упал на колени. И в замеревшей тишине, дерзко глядя

на страшного всадника перед лицом ненужной, ненавистой, непрощенной смерти, я, предводитель шимпанзе Австралии, Африки и Южной Америки, прокричал гордому всаднику и ненавистой мне смерти трижды петухом"⁹.

В отношении содержания визов, бросаемый героем своему антагонисту – Медному Всаднику, отождествленному с апокалиптическим всадником, "которому имя смерть" (Откр. 6,8), – полигенетичен (это и своего рода вариант "Ужо тебе!" пушкинского Евгения¹⁰, и реминисценция сцены стрелецкой казни из "Петра и Алексея", и обличение князя юродивым, входившее в ряд культурных стереотипов древнерусского "смехового мира", столь любимого Ремизовым); в отношении формы (троекратный крик петуха) – полифункционален: разгоняет нечистую силу, пробуждает ото сна, символизирует жизнестойкость¹¹, напоминает Петру о Христе (Матф. 26, 34; Мк. 14, 30; Лук. 22, 34; Ио. 13, 38)¹². Перечисленные функции мотива "крик петуха", санкционированные широкой культурной традицией, наиболее очевидны. Самая же значительная и потому самая скрытая проясняется при обращении к другому ремизовскому тексту – эссе "На Красном поле" (смысл заглавия раскрыт в авторском примечании: "Так за красоту Красным полем назовет русский народ Марсово поле"¹³). Здесь речь идет, в частности, о десакрализующем и неприемлемом, по мысли Ремизова, переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Цитируемый ниже отрывок построен в форме обращения к "граду Святого Петра":

"Обездолили, отреклись от твоего имени – чья это лесь? кто покривил? или с дури? или безумье? – обездолили, отреклись от апостола, имя святое твое променяли на человеческое: из града Святого Петра – петухом – Петроградом сделали. Вот почему отступили силы небесные, и загнездилась на вышках твоих черная сила"¹⁴.

Отметим в этой связи следующее: 1) в записи Ремизова от 1919 г. в альбом С.М.Алянского¹⁵ Петроград иронически именуется "Петиной деревней"; 2) обезьяний царь Асыка Первый, пародийно соотнесенный в ремизовской игре с фигурой Петра I (ср. в "Петре и Алексее" образ мартышки, передразнивающей "великого царя"), изображался, в соответствии с "конститу-

цией" Обезьяншей Великой и Вольной Палаты, с короной "как петушиный гребень"¹⁶.

Таким образом, финал сна "Обезьяны", отражающий сложное отношение автора к личности и деяниям Петра I, построен на обыгрывании, со- и противопоставлении трех вариантов имени "Петр": Святой Петр – Петр I – Петя-петушок. Ни одно из имен не фигурирует в тексте, без их угадывания "сон" не поддается "толкованию".

Касаясь вопроса о локализации рассмотренного явления в определенном типологическом ряду, следует, в первую очередь, отметить, что второй пример (из "Павочки" Ремизова) обладает лишь внешним сходством с традиционным приемом перифрастического употребления имен – типа "певец Гяура и Жуана" (=Байрон), так как ситуация "воспитанник Сенеки" (=Нерон) возникает, собственно, уже за пределами текста; в самом же тексте ей соответствует иная: "наставник Александра Македонского" (=Сенека/Гераклит вместо = Аристотель).

Было бы также неверным трактовать этот прием как разновидность фигуры умолчания (*praeteritio*), поскольку для явлений, обычно объединяемых этим термином, специфичным бывает активизация читательского восприятия посредством особого, как правило интонационного и/или графического, указания на текстуально не зафиксированный и конструктивно значимый элемент, тогда как наши примеры подобных указаний лишены.

По-видимому, наибольшую общность рассмотренный прием обнаруживает с тем феноменом, который в исследованиях М.Ю.Лотмана получил определение "семантическая анаграмма": в отличие от анаграмм обычного типа (так сказать, "звукосмысловых") семантические, или "чисто смысловые", анаграммы основаны на "распылении какого-либо сигнала только в плане содержания" художественного текста¹⁷.

О степени распространенности явления "семантической анаграммы" в практике художественного использования имен собственных судить, разумеется, трудно. Тем не менее, уверенно

можно говорить о необходимости расширения предмета поэтической ономастики – путем включения в него имен, функционирующих только в "плане содержания". Это расширение, кстати сказать, легко компенсировать: имена, присутствующие только в "плане выражения", не подлежат рассмотрению, поскольку тексты с подобным имяупотреблением, очевидно, не удовлетворяют критериям художественности, вступая в противоречие с известным принципом: "В художественном произведении нет неговорящих имен"¹⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Цит. по изд.: Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита: Романы. Л., 1978.

²См., наприм.: Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники: Лит. воспоминания. М., 1979. С.156.

³См., наприм.: Лидин В. Люди и встречи. М., 1965. С.17.

⁴Цит. по изд.: Каверин В. Избранное. М., 1973. С.62.

Об А.Н.Толстом как прообразе указанного персонажа (Путятина, в других редакциях – Тюфина, Шаховского) см.: Чудакова М.О., Тоддес Е.А. Прототипы одного романа // Альманах библиофила. М., 1981. Вып.10. С.186–187.

⁵Что касается макудовского "подражания Толстому" в романе "Черный снег", то объективно, т.е. отвлекаясь от его восприятия редактором Рудольфи, речь может идти об известной ориентации автора "Белой гвардии" на традиции "Войны и мира".

Следует также сказать, что исследователи, отмечая тематическую общность "Белой гвардии" и "Дней Турбиных" Булгакова с "Хождением по мукам" (см., наприм.: Ермакова Т.А. "Дни Турбиных" М.Булгакова и полемика вокруг пьесы // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1967. Т.187. С.100; Чеботарева В.А. К истории создания "Белой гвардии" // Рус. лит. 1974. № 4. С.1) справедливо указывают на существенное отличие произведений Булгакова и А.Н.Толстого "не только по стилиевой, но и по идейной тональности" (Перцов В. О художественном многообразии // Москва. 1967. № 10. С.200–201), на "полемическую нап

равленность" "Белой гвардии", которой Булгаков создает своего рода жанр "антихождения" (Баранов В.П. Время - мысль - образ: Ст. о сов.лит. Горький, 1973. С.116, 123).

⁶Под этим заглавием повесть вошла в кн. Ремизова "Весенние порошье" (СПб., 1915); в частично измененном виде и озаглавленная "Корявка" она вышла отдельным изданием в Берлине в 1922 г. Здесь цитируется по первому изданию.

⁷Об интересе к "огненной системе" Гераклита свидетельствует ряд произведений Ремизова, прежде всего - книги "О судьбе огненной" (Пг., 1918) и "Электрон" (Пг., 1919), представляющие, собственно, обработку и монтаж фрагментов из Гераклита, известных Ремизову, очевидно, в переводе В.О.Нилендера.

⁸О происхождении имени "Асыка" см.: Гречишкин С.С. Царь Асыка в "Обезьяньей Великой и Вольной палате" Ремизова // *Studia Slavica Hung. 1980. K. 27. Old. 143-176.*

⁹Цит. по изд.: Ремизов А.М. Соч.: В 8 т. СПб., [1911], Т.3. С.170.

¹⁰Ср. аналогичный по смыслу эпизод в повести "Крестовые сестры" (Ремизов А.М. Соч. Т.5. С.147).

¹¹Ср.: "... Я хочу этой же самой жизни, через все ее тысячекратные громы под хлест и удары в отдар - п р о к у - к а р е к и в а т ь п е т у х о м " (Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж, 1927. С.98).

¹²Ср.: "... Я не пророк, я не апостол, я - тот петух, который запел, и отрекшийся Петр вспомнил Христа" (Там же, с.333), а также использование этого мотива в ремизовской поэме "Иуда Предатель" (см.: Ремизов А.М. Соч. Т.8. С.280-281).

¹³Аргус. 1917. № 7. С.72.

¹⁴Там же, с.75. По мнению современных исследователей, название "Санкт-Петербург" или "Петербург" как сокращенный его вариант переводится либо как "Град Святого Петра", либо как "Петроград" ~ "Петрополь"; в первом случае отнесенность названия к апостолу Петру сохраняется, во втором - затухает и, соответственно, имя "Петроград" "Петрополь"

ассоциируется не с апостолом, а императором (Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции "Москва - третий Рим" в идеологии Петра Первого. (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык средневековья: [Сб.ст.] М., 1982. С.245).

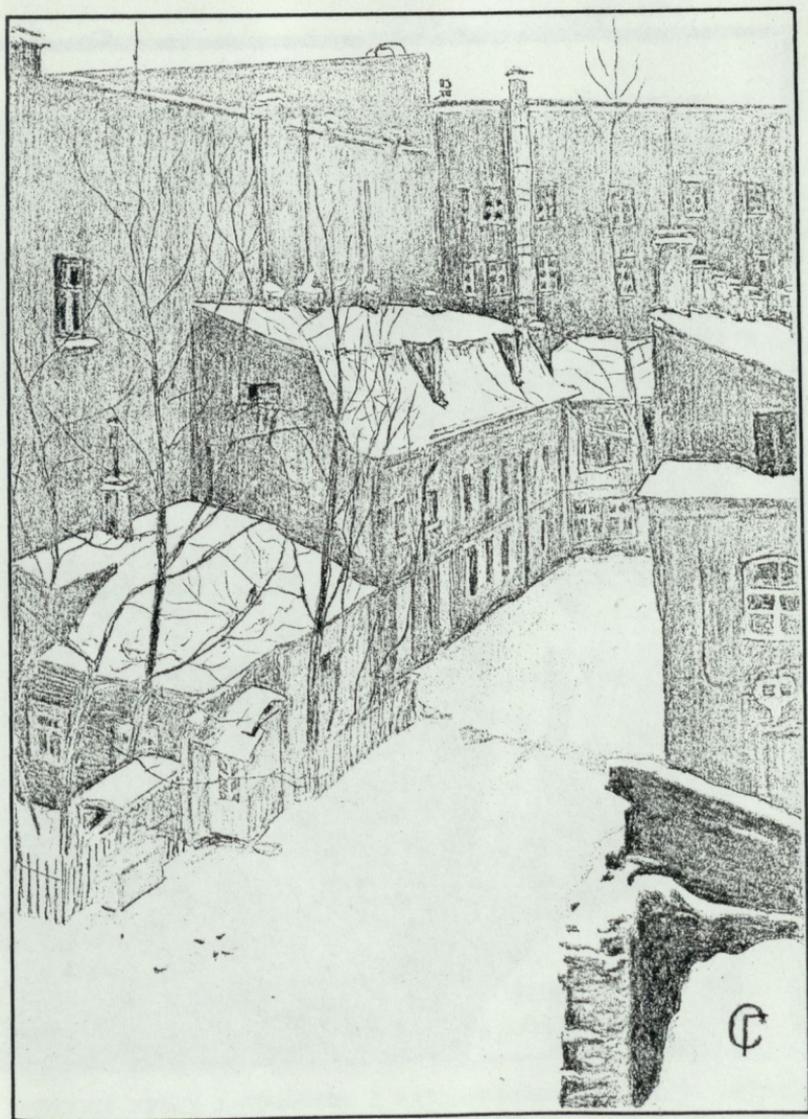
I5 Архив Н.С.Алянской (Москва); сообщено нам С.В.Белов

I6 Ремизов А.М. Ахру: Повесть петербургская. Берлин; Пб.; М., 1922. С.49; Ремизов А.М. Взвихренная Русь. Париж, 1927. С.272. См. также "асычий нерукотворенный образ" в кн. "Ахру" (с.45).

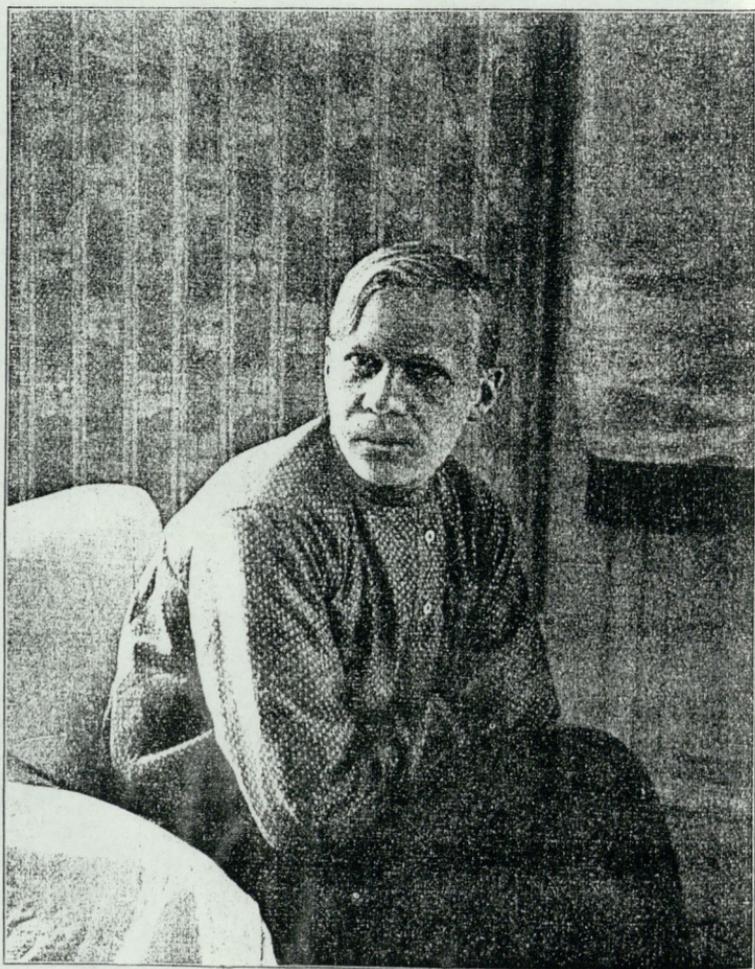
I7 Лотман М.Ю. О соотношении звуковых и смысловых жестов в поэтическом тексте // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1979. Вып.467. С.108.

I8 Тьянянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.269.





ЭТАЖЕРКА (публикации)



Василій Васильевичъ

БАШКИНЪ.

СМЕРТЬ БАШКИНА

Мне только тридцать лет, а когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто шел я по какому-то огромному кладбищу и ничего не видел, кроме могил и крестов. Рано или поздно где-нибудь вырастет новая могила, и каким бы памятником ее ни украсили, простым крестом или гранитной громадой, все равно — это будет все, что от меня останется. В конце концов это и не важно: и бессмертие вещь скучная, и жизнь мало любопытна. Скверно то, что смерть страшна и, пожалуй, **и не решишься собственноручно отправить себя к черту; будешь жить долго, долго идти по этому кладбищу, которое называют жизнью, и мимо, бесконечно вырастая, все будут мелькать новые и новые кресты. Все дорогое, все милое останется позади; все приросшее к сердцу отпадет, как листья осенью, и добредешь до конца один как перст.**

Вот умер и Башкин. Еще одним из тех, со кем вышел я на литературную дорогу, стало меньше.

А впрочем и хорошо сделал, что умер. Радости в его жизни было так немного, что ее не хватило бы и на один день существования самого среднего обывателя. Времена, когда литература была кладзем всяческой добродетели, давно прошли. Из всех щелей полезло в наш мирок столько дряни, начался такой кабак, такая биржа, что скромному, тихому Башкину было в нем так же хорошо, как васильку, брошенному в пыль на базарной площади. Может быть, в былые времена тихая прелесть его души и задумчиво нежного дарования оценилась бы иначе, но теперь, на большой дороге литературы, в шуме и грохоте купли и продажи, в хитросплетенной борьбе интриг и рекламы, нужны крепкие руки, могучая мысль, жестокое сердце. Ничего этого у Башкина не было, и он жил в загоне, бедствовал, надрывался и умер, как подобает русскому писателю, в хаотке.

Мало кто знает его, имя Башкина не займет в литературе

большого места. Талант у него был небольшой: вся прелесть его заключалась в том, что сам Башкин был милый, кроткий, искренний до глубины души, хороший человек. Эти личные качества отражались в его работе, как голубое небо в чистой воде, и придавали его маленькому таланту своеобразную, задумчивую прелесть.

Когда-нибудь, если я исполню одно из своих желаний — оставить широкую картину из жизни тех, чья судьба определяла быть солью земли, ловцами человеков и которые сделали из литературы вертеп мелких жуликов, — я дам в романе и тип Башкина, верный той светлой памяти, которая осталась во мне о нем. Теперь лицо его еще слишком близко, мелочи воспоминаний мелькают перед глазами слишком пестро. И слишком ярко передо мной три картины, три момента его смерти и похорон, которым обобщения я еще дать не могу.

Я не видел Башкина около года. Одна и та же болезнь у обоих разбросала нас по разным углам. И только за день до его смерти мы увиделись в последний раз.

Когда я вошел в комнату, Башкин спал: спал под морфием, странным и страшным сном. Кто-то держал свечу, и желтый свет пятнами колебался на потолке и стенах, с странным рисунком обоев. Почему так поражает иногда *какая-нибудь* мелочь? А я помню, что с жутким чувством посмотрел на эти обои: вокруг *всей комнаты*, в странных и грубых линиях шли какие-то гитары, и почему-то было неприятно и даже противно думать, что они никогда не играли... Свет ползал по стенам, безмолвно рядом вытягивали гитары свои тонкие нарисованные шеи, и на постели с хрипом и свистом подымалась грудь человека, который в эту минуту, может быть, с страшной силой боролся где-то на грани жизни и смерти. Быть может, это была агония, и Башкин умер бы тогда же, если бы мы его не разбудили. В первую минуту, когда он открыл глаза, Башкин, очевидно, ничего не сознавал. Странен и страшен был взгляд этих, прямо на меня устремленных, как будто откуда-то из страшного далека смотрящих глаз.

— Василий Васильевич, — позвал я.

И вдруг взгляд изменился. Как будто что-то ужасное и непонятное исчезло от звука моего голоса. Знакомое выражение

ласки и привета появилось на полумертвом лице, и больной потянулся ко мне навстречу. Я нагнулся и поцеловал его. И вдруг Башкин обхватил мою голову, прижал к груди, в которой хрипело, клокотало и билось что-то, стал нежно, нежно, как мать ребенка, гладить меня по голове. Молча, как будто с великой любовью, и как будто с нежной жалостью, и как будто прося меня защитить и спасти его.

И странно. Я, встретивший Башкина с самого первого его рассказа, всю жизнь помогавший ему, всегда бывший старшим, его защитником и покровителем, в эту минуту, слыша, как что-то грозно хрипит и клокочет в его груди, а рука его слабо скользит по моим волосам, чувствовал себя маленьким, ничтожным и слабым.

Не от рождения, а от близости смерти надо считать года человеку. Что знал Башкин, что он пережил, я узнаю еще не скоро. И мой хваленый талант, мое имя, Боже мой, как они были ничтожны и комичны перед той последней мудростью великой любви и жалости, которую дала Башкину смерть, стоявшая тут же, рядом с нами.

Когда-то мы много спорили с Башкиным. Мои взгляды известны. Много времени мы прожили вместе, и я, как более сильный, давил его своим авторитетом. Теперь настало время подвести итоги. Один из нас кончал последнюю страницу своей жизни. И я спросил его с жутким любопытством:

— Ну, что же, Василий Васильевич, сошлись или разошлись еще больше мы с Вами теперь?

Башкин, не улыбаясь, прямо, светлыми и добрыми глазами посмотрел мне в лицо.

— Разошлись, — сказал он. — Надо любить и жалеть всех.

Что ж, может быть, он и прав. Не знаю.

Но, кроме злобы и ненависти, что могло быть у меня в душе, когда мы провожали гроб Башкина в могилу.

Как мало было провожатых! Среди огромного белого поля, по колено в снегу, заносимые метелью, какие маленькие и жалкие, должно быть, казались мы. Белый гроб медленно колыхался впереди, метель секла и трепала две-три цветные ленточки венков, ничего не было видно кругом, кроме белого поля да неустан-

но несущейся белой метели. Я шел за гробом, проваливался в снег и в сотый раз прочитывал надпись на венке:

- Дорогому отцу и мужу от жены и сына.

Это был маленький и жалкий веночек, и надпись была не на ленте, а на жестяной дощечке, какую прибавают на крестах последнего кладбищенского разряда.

Я читал и думал о том, что у меня в кармане лежит двести рублей, с трудом собранные мною для семьи Башкина. Думал о том, что жена Башкина еще не знает о его смерти, думал о том, что она родила почти в тот же день, когда он умер, думал еще о том, что же будут делать его "жена и сын" дальше? Думал еще о том, что ведь это все же "похороны писателя", и, ей Богу, странно было в эту минуту требовать у меня любви и жалости к тем миллионам купцов, царей жизни, зверей и мерзавцев, которые что-то жрали, ворча и рокоча утробой громадного города, смутно синевшего на краю горизонта, за пологом неустанной метели.

Да будь они трижды прокляты все!

А нечто и светлое осталось в душе от этих похорон. Почему светлое, когда в сущности - ерунда, мелочь и случайность - не знаю, а что-то осталось.

Когда мы опускали гроб в могилу, вырытую на крестьянском кладбище, метель прошла. Был светлый, белый, чистый зимний день. Пахло морозом, и в круглых белых шапках стояли кресты. Трепеща крыльями, голуби носились между нами. Один все порывался сесть на гроб и, отлетая, садился на ближайший крест. Красиво было.

Может быть, оправдание всего мира и есть в красоте? Может быть, все существует только для того, чтобы была красота?

Красота голубей, белого зимнего дня, белого гроба, тихой грусти, прелести умершей милой души Башкина.

Петербург, 1909 г.

Василий Башкин

СВОЙ БРАТ

I

Приёмные часы кончились, и в редакционной комнате нашей провинциальной газетки было дымно, душно и шумно. Велись посторонние разговоры. Шутили друг над другом. Ругали издателя. На длинном некрашеном столе лежали большие тяжелые ножницы, какими пользуются портные, полоскательная чашка с желтоватой водой, полная разбухших окурков, и превращенные в лохмотья газеты. На полу валялись надорванные конверты, забракованные вырезки и комки смятой исписанной бумага. Редактор Виталий Александрович — небольшой лысый господин, с лицом человека, страдающего печенью, — курил самодельную папиросу, вставленную в черешневый мундштук, играл брелочками и рассказывал, как подделываются древние монеты. Самый остроумный способ, по его словам, заключался в следующем: индюкам подсыпают в пищу обыкновенные копейки; копейки подвергаются в желудке птицы действию разнообразных соков и выходят обратно на свет Божий испещренные непонятными знаками и покрытые зеленой плесенью, неоспоримой печатью глухой старины. Каждую фразу Виталия Александровича сопровождал взрыв хохота, а он сидел серьезный и сдержанный, как профессор, читающий лекцию. С улицы было слышно, как проносятся мимо экипажи, как шумит море и у подъезда соседней гостиницы недовольно рычит автомобиль. Единственное окно со стеклом, треснувшим посередине, заклеенное узкой полоской "Нового Времени", сверкало солнцем, весной и молодым голубым небом.

— Здорово... Вот это я понимаю, — оторвавшись от газеты, сказал секретарь редакции Иван Степанович, высокий молодой человек в австрийской куртке и брюках, заправленных в сапоги.

Он прочел нам, что артельщик исчез с двумястами тысяч

банковских денег, громко и звично откашлялся, подошел к окну и принялся отрывать полоску "Нового Времени".

- Поймают. Не нагуляет долго... - почему-то решил Виталий Александрович, подставивший солнцу желтое, как пергамент, лицо и зажмурившийся от яркого теплого света, отчего в нем получилось сходство с беспомощным больным ребенком.

- Поймают... - зло передразнил секретарь. - Иди ветра в поле. Не нам чета. По крайней мере перестанет киснуть. Он даже заволновался, и полоска "Нового Времени" была оторвана.

Кроме меня, Виталия Александровича и Ивана Степановича в комнате находилось еще два лица: университетский студент с большой окладистой бородой и унылыми серьезными глазами, писавший стихотворения в прозе под псевдонимом "Новый", и полный рыжий мужчина в фуражке министерства народного просвещения и в светлом песочном пальто, сидевший у выходной двери и игравший тоненькой тросточкой. Мой взгляд случайно встретился с его карими глазами. Рыжий мужчина удивился и сочувственно закачал головой.

- Двести тысяч - немалая сумма. Устроиться можно хорошо. Процентом, пожалуй, не проживешь. Вот у моей тети в Екатеринославе билет второго займа есть. Выиграла бы старуха. Славно бы было. Подговорил бы газетку открыть. Виталия Александровича в редакторы. Двести рублей жалованья. Ивана Степановича в секретари. Сто рублей жалованья...

- Никогда ваша тетка не выиграет, - сердито перебил секретарь.

- Все-таки мечтать можно... - мягко сказал незнакомый господин, как впоследствии оказалось, учитель местного четырехклассного училища Гололобов, случайно поместивший двухстраничный рассказик в одном из столичных журналов и возмечтавший о литературной карьере. Он еще ниже склонился над тросточкой и старательно очерчивал лежавшие на полу длинные прямоугольные солнечные пятна.

Виталий Александрович встал, повел плечами, точно только что сбросил с них тяжесть, и объявил, что пора уходить. Гололобов обнял его за талию.

— Сегодня я должен угостить вас кофейком на поплавке. За этим и пришел. Давно обещано... И вас, господа, милости прошу.

— Всякое **дьяние** благо... — густым басом согласился Иван Степанович.

Редактор и Гололобов шли под руку впереди. Мы трое — позади. Студент с псевдонимом "Новый" задержался у витрины книжного магазина, где была выставлена новая брошюра Каутского. Догнав нас, он выразил сожаление, что у него нет денег на покупку этой брошюры. Иван Степанович усмехнулся.

— Смотрите, подведет вас ваш Каутский...

— А вас ваша беспринципность зарежет.

— Ну это мы еще, как говорят немцы, будем посмотреть.

Погода была отличная, свежая и бодрая. Соленый воздух щекотал ноздри. Море сверкало блестящей светлой синевой, напоминавшей игру серебристой рыбой чешуи. Солнце с безмятежной улыбкой смотрело на горы, на магазины с зеркальными окнами, на дам, кружевные зонтики и нарядные плетеные экипажи. Шумела толпа, легкая и воздушная, как весенние кудреватые облака. Уличные продавцы настойчиво предлагали розы и сирень. Фыркали сытые лошади. На фоне нарядной толпы наша группа выделялась смешным и неуклюжим пятном. Виталий Александрович комично размахивал руками и шел как-то боком. Гололобов едва поспевал за ним, любезно оглядывался на нас и расспрашивал своего спутника об индюках и приблизительно ли подделывать древние монеты. Его упитанная рослая фигура, блестящие на солнце розовые уши и песочное пальто благодушно рассказывали, что Гололобов сегодня в очень приятном настроении, что он гордится прогулкой с нами, что он недалек и непритязателен.

На поплавке нам подали блестящий никелированный кофейник, каких-то пирожных, к которым имел слабость Виталий Александрович, обожавший, как говорят гимназистки, все сладкое, и пять маленьких чашечек. Гололобов принял на себя роль хозяина, положил в каждую чашку по кусочку сахара, разлил кофе и сделал пригласительный жест.

- Честная компания, прошу приниматься за восточный напиток. Превратимся на полчаса в турок и помянем добрым словом Магомета.

Он взял дымящейся черной жидкости на ложку, понюхал ее, потом опрокинул на язык и некоторое время разбирался в вкусовых ощущениях.

- Настоящий арабийский мокко, и следует полагать, без кориоря. Приступайте, судари, к угощению.

Розовые пухлые щеки не скрывали детской радости, что он может распорядиться и угощать. Смеялись большие нечистые зубы, крупные веснушки и завитки здоровых густых волос. Он указывал рукой на пирожное, достал пятак и спрашивал: получится ли древняя монета, если его проглотить и запить кофе, или придется звать врача.

Я сидел с ним рядом, и он часто обращался ко мне.

- Люблю, знаете ли, побыть среди братьев-писателей. Сам прикосновенен к этой благородной отрасли искусства и, значит, чувствую, что сижу со своими. Вы не поверите, как это приятно. Солнце вот тут к вашим услугам. Черное море, которое в древности называлось негостеприимным, там, за далью горизонта - загадочные страны востока, а рядом Виталий Александрович, Иван Степанович, поэт "Новый" и вы. Сидим мы все, благодушествуем, кофеи распиваем, разговоры разговариваем. Чего еще нам надо!

- Мне вот деньги нужны, - перебил Гололобова Иван Степанович... - а ему, - он указал локтем на студента, - революция и демократическая республика.

- А мне бы... - вздохнул Виталий Александрович, - здорovia, да где бы перехватить красненькую.

- Погодите, все будет... Вот, может, тетка екатеринославская выиграет...

- И революцию выиграет? - спросил секретарь.

Лицо студента корчилося нервными гримасами. Он не мог без отвращения слушать такие разговоры встал, незаметно положил серебряную монету за свой кофе и распростился. За соседним столиком разместилаь новая компания, и туда позвали Ивана Степановича. Он стоя допил кофе и ушел к сво-

им знакомым. Виталий Александрович вспомнил, что его ждут дома обедать.

— Ну вот мы и наедине остались, — сказал мне Гололобов. — Если есть у вас лишнее время, побеседуем малость. Признаться, я люблю перекинуться со своим братом-писателем двумя-тремя словами.

Вышло так, что мы поменялись адресами и обещаниями навестить друг друга. Гололобов помуслил карандаш, достал записную книжку и черкнул мой адрес.

— Непременно зайду... — прощаясь, заявил он. — Ни одного дельного знакомого. Понимаете.

Через минуту я видел, как он с поднятой головой, помахая тросточкой, нес свою фигуру в нарядной курортной толпе. Вид у него был настолько обывательский, что у меня защемило сердце. Зачем мне было его приглашать? И я подумал, что Виталий Александрович, Иван Степанович и студент "Новый" зло подвели меня.

Благодушно смотрело солнце. Беспечно сверкало море. Суетливо шумела нарядная, оживленная толпа. Декоративные, похожие на театральные кулисы, горы млели в теплом солнечном свете. Сытое самодовольное веселье проглядывало во всем, и хотелось быть подальше от курортного города, где случайные люди, чужая жизнь и блестящая тоска, позлащенная солнцем.

II

Сумерки быстро переходили в темный бархатный вечер, и их седые космы висели в темноте, как клочки облаков на вершинах гор. Я люблю сумерничать и поэтому не зажигал лампы. Внизу вспыхнули электрические фонари, составили мечтательный хоровод, и в их свете заманчиво звучала полногрудая женская песня. Прислушался к ней и задумался о далеком северном городе, где вырос, с которым сжился и в котором оставил близких. Там теперь тихая белая ночь, в садах пахнет перламутровой черемухой, причудливые призраки бродят по берегам сонных прудов, и старые липы рассказывают грустные романтические истории. Мне вспомнилась любимая девушка, и я мысленно решил, что она меня разлюбила. Бледные северные звезды на-

шепчут ей в эту ночь свои странные, болезненные фантазии... Проклятый юг! Проклятое одиночество!... Потянуло написать о тоскливых настроениях, о том, что жизнь без нее мне невыносима и что она чересчур часто встречается с этим своим знакомым Руслановым. Только что я собрался позвонить прислуге, чтобы она заправила и зажгла лампу, как в дверь осторожно и тихо постучали. Оказалось — Гололобов. Он пожал мою руку двумя и принялся извиняться.

— Простите... Боюсь, не помешал ли... Еще нарушишь вдохновение... Вы говорите прямо... Воспользовался вашим любезным приглашением. Хочу поговорить по душам. Плохое мое дело, знаете ли.

От Гололобова пахло духами, и, когда ласковым и спокойным светом загорелась невысокая лампа, я заметил, что мой гость прибыл прямо из парикмахерской. Он был чем-то встревожен, вздыхал и нервно потирал руки. Разговор завязывался с трудом. Пожаловался ему на их сияющий юг, на эгоистичную, самодовольную красоту природы и на яркое, но бесчувственное солнце.

— И не говорите, не говорите, — перебил меня Гололобов. — Все это мишура, от которой больно глазам и сердцу. Только нервы зря расстраиваются.

С мрачным видом уселся он против меня, глубоко вздохнул и смотрел куда-то в сторону. Я пододвинул ему стакан с чаем. Но он не мог усидеть, сделал два глотка и забегал по комнате, сдавливая виски и потирая руки. Его поведение было настолько странным, что мне казалось, будто я смотрю на сцену, где плохой провинциальный актер выражает мучительные душевные переживания быстрой беготней и двумя-тремя заученными жестами.

— Что с вами, Михаил Сергеевич?

— Нервы. Понимаете, нервы.

Гололобов продолжал бегать, намереваясь о чем-то заговорить и, видимо, не решаясь. Я не знал, как ему помочь, и углубился в питье чая, усиленно куря папиросу за папиросой. Наконец, Гололобов не выдержал. Он сел опять против меня, схватился за лоб, со стоном опустил руку и посмотрел на меня неумными, невыразительными глазами.

- Хочу бросить педагогику... Надоело... Пришел к вам с целью попросить вас устроить меня где-нибудь в журнале в качестве секретаря или редактора. Не могу больше... Понимаете, нервы... Весь день в сотрясении. Или пулю в висок, или...

Он выпалил эту тираду без передышки и взволнованно ждал ответа, надувая розовые пухлые щеки. Теперь я понял, в чем дело, и принялся объяснять, что в редакторы таким путем, как он хочет, не попадают, что бросать училище ни к чему, сначала надо выяснить свои силы и что он может писать, оставаясь учителем.

- Времени не хватает... Попробовали бы вы... Одних тетрадок с диктовками... Да что и говорить... Нет, уж что-нибудь одно... Или с головой в житейский омут, вытянув руки и закрыв глаза, продавать сердце и душу, или под знамя искусства на все лишения.

Он сделал широкий трагический жест и опять сорвался с места. Говорил он так громко, что мне пришлось предупредить его о моей соседке, тяжело больной женщине. Гололобов поднял брови, приложил руку к сердцу и свистящим шопотом сказал:

- Вот и живите, когда рядом умирают. Да здесь каменный не выдержит. Каменное сердце треснет. Нет, не могу я... Не в состоянии.

Он крутил головой, и я опять не понимал, что с ним происходит: напускает он на себя и плохо разыгрывает неудачно выбранную роль или у него на самом деле нескладная душа. Одно я понял ясно: человек этот бездарен... Каждое слово, каждое движение было настолько пошло, что меня начало коробить, как недавно на поплавке студента "Нового". Мысленно я упрекнул себя, что не могу по-человечески отнестись к Гололобову, и попытался его успокоить.

- Напрасно вы так горячитесь. Вот подойдут каникулы, будет много свободного времени, напишите что-нибудь и отправьте в журнал.

- А вы думаете, я не устал... Мне нервы не позволят.

- Сначала отдохните....

- Где уж тут!

Он досадливо махнул рукой.

— Тогда чего вы хотите?

Гололобов стоял у окна, напряженно дышал и мял форменную фуражку с белым чехлом. Ясная круглая луна поднялась вровень с подоконником и засветила ровным таинственным светом, напоминая о возможности другой жизни, о пряном аромате черемухи и о многом другом.

Принялся доказывать Гололобову, что даром ничто не дается и литература требует внимательного и серьезного труда.

Он разочарованно слушал меня и, должно быть, не верил. Потом резко сказал:

— А вы думаете, — я не трудился. Зашли бы ко мне, поглядели, какие груды бумаги исписаны. Ночи напролет сидел. Но все возвращают, не хотят печатать неизвестного имени. А у меня и псевдоним хороший придуман — Аркадий Грустин.

— Дело не в псевдониме.

Гололобов как-то поблек и больше не раздражался. Мои указания и советы его несколько не интересовали. Он сидел с опущенной головой, неожиданно встал, и молча протянул руку. Я не стал его удерживать. Голос его дрогнул, когда он задал последний вопрос:

— И никакого спасения от этих нервов нету?

— Обратитесь к врачу... — посоветовала я.

У дверей он оглянулся.

— Ну, значит, пропадай Михаил Гололобов! Никому ты не нужен...

Звучали шаги по твердому грунту. Круглая луна светила на гористую улицу. От ее света зелень казалась маслянисто-темной, а дома и дачи маслянисто-белыми. Внизу в общественном саду играл струнный оркестр.

"Куда, на какую гибель идет этот человек?" — подумал я про Гололобова, когда увидел на стене соседней дачи его переломленную тень.

Ночь насмешливо хранила какую-то тайну.

Ш.

Совсем майское море плескалось в гранит набережной. Смеющиеся пенные брызги с веселым задором перелетали на панель. Была бы лунная ночь, так можно бы было фантазировать, будто русалки собрались внизу, заигрывают с людьми и, выбирая удобную минуту, бросают в гуляющую толпу пригоршни соленой искристой воды, как бойкие дамы на музыке мелким разноцветным конфетти. Небо было синее, точно густо накрашенное. Вдалеке весело шныряла шаловливая яхта, а еще дальше за ней, почти на линии горизонта, дымил медленно подвигавшийся купеческий пароход.

Я с полчаса уже сидел на набережной и успел прочитать газету. В церквях звонили. Кончилась обедня. Гимназистки сияли светлыми форменными платьями, дамы — легкими нарядами, зонтиками и шляпами, сытые сильные лошади — лоснящейся шерстью, и городовые — козырьками фуражек и готовностью моментально прекратить беспорядок. Веселого счастливого блеска было так много, что от него становилось больно глазам. А душе было больно, что вот есть и почти у каждой гимназистки имеется что-то похожее на вольную радостную жизнь, что жизнь эта весело журчит в дамской болтовне и сверкает даже на откормленных лошадях, а ты почему-то, может быть, по собственному неумению, ее лишен и, вероятно, никогда не добьешься. Короче, было такое праздничное весеннее утро, что хотелось скрыть от посторонних взоров свое одиночество и меланхолию, свое растрепанное уныние и хоть притворно присоединиться к общему ликованию, к сверканью моря и солнца и задорному полету водяных брызг. Две дамы сели на извозчика и с улыбками кивали третьей. Я встал и зашагал по набережной, обдумывая, куда бы мне пойти, мысленно перебрал немногих знакомых, забраковал Виталия Александровича, как болтливую и суетливую, Ивана Степановича, как не имеющего обыкновения сидеть дома, и студента "Нового" за мрачность и особый удивительный дар молчания. Пришлось остановиться на Гололобове. Жил он на хорошей улице, недалеко от набережной, и у дачевладельца с громким титулованным именем,

так что отыскать его было нетрудно. Вошел в металлическую калитку и пошел по дорожке, усыпанной мелкими камнями. На площадке в саду, как в ресторане, стояли мраморные столики. Пахло обедами. Во внутренних флигелях была масса комнат, на балконах ветер играл развешанным для просушки бельем, у недействовавшего фонтана, изображавшего журавля, играли дети. Гололобов с непокрытой головой, в парусиновом пиджаке, строгал ножиком древесную ветку. Маленькая девочка держалась за его брюки. Увидав меня, он просиял, бросил ветку, спрятал перочинный ножик в карман и крикнул:

— Марья Антоновна, возьмите Маргариту. Ко мне дорогой и неожиданный гость. Писатель Глебов.

На зов пришла неопрятная, некрасивая женщина в полурасстегнутом красном капоте. Она ласково с улыбкой взглянула на меня, наклонилась к девочке и подолом капота вытерла ей мокрый носик. Девочка в свою очередь смотрела на меня, подняла обструганную ветку и не хотела идти за матерью.

— Денек-то какой... Божья благодать, — сказал Гололобов и поднял глаза на верхушки старых запыленных кипарисов. — Ну как, брат-писатель, живешь-можешь? Какие романы пишешь? Поди, идей в голове у вас непроворот.

Говорил он громко, смакуя каждое слово, взял меня под руку, расспрашивал, как здоровье "нашего редактора" Виталия Александровича, и просил подольше погостить у них в Крыму.

— Вы человек родине полезный, и беречь вас наша обязанность. Нет, через недельку мы вас не отпустим, и думать не можете. Хлебните сначала жаркого солнышка... Да-с, господин писатель...

Розоватые щеки веяли избытком здоровья. На густых завитках рыжих волос играло полуденное солнце. Гололобов показал мне свою "хибарку" с земляным полом, запахом сырости и новыми парусиновыми туфлями и повел обратно в сад. У одного из столиков он предложил садиться и углубился в чтение обеденного меню.

— Обедаю по древнему российскому обычаю рано. Может, и вы соблаговолите разделить компанию. Предупреждаю, что будет скромно. Разных разносолов и фрикасе с лудками здесь

не достанешь.

Я отказался. Он не настаивал.

— В таком случае беру с вас слово, что вы позволите угостить себя маленькой чашечкой кофе на поплавке и штучкой пирожного.

Прячась за ствол старого кипариса, за нами следила женщина в красном капоте. Гололобов благодушно улыбался на мелькание капота и старательно крутил усы. Он заказал себе щи пожирнее и битки в сметане, повязал около шеи салфетку и, низко наклонившись над тарелкой, сопя и кряхтя, принялся за еду. Длинные листья капусты прилипали к губам, и он снимал их пальцами и клал в рот. Между глотками он громко, оглядываясь на других обедающих, словно приглашая их слушать, говорил:

— Нет, брошу я педагогику. Ей-Богу, брошу... Надоело.. Поеду к вам в столицу... Может, в редакторы попаду... Всяко бывает.

С запахом рез и белой акации смешивался неприятный, вызывающий тошноту запах распаренной капусты. Гололобов доел щи, вытер тарелку коркой хлеба, обмакнул ее в солонку, посыпал перцем и проглотил.

— Увольте... Больше не в состоянии... Нервы не выдерживают, голова болит и все иное прочее. Достаточно потрудились на ниве отечественного просвещения, и для себя пожить надобно. Слег у меня, без хвастовства скажу, вполне правильный и, как многие говорят, красивый... "Чуден Днепр при тихой погоде"... напоминает. Душа чувствительная есть... Увидишь так облачко — и в сердце зашепочет... Да что вам рассказывать? Сами знаете.

Он вытирает соляные губы грязной салфеткой и облизал ножик и вилку. Потом приделся, опанхнул ладонью чехи фуражки и в петлицу пиджака поместил свежесорванную розу.

— Теперь вы исполните ваше обещание. Погнушались моей трапезой, за это и накажу вас чашечкой кофе и пирожным с кремом. А мне мочион.

Гололобов взял меня за талию. Из-за кипариса вышла женщина в красном капоте. Она проводила нас до калитки и крикнула вслед:

— Михаил Сергеевич, вы не очень долго... А то я соскучиться могу.

Гололобов любезно склонился ко мне, как прошлый раз к Виталию Александровичу, и вспомнил про индиков и екатеринославскую тетюшку. Спросил, заметил ли я женщину в красном капоте, и сказал, что она вдова с некоторым капиталцем. На набережной, как всегда в этот час дня, было пусто. Скучали приказчики в магазинах. Дремали лошади и извозчики. В море в полосе солнечного света играла стая дельфинов.

— Я вам по секрету скажу, — говорил мне Гололобов, наливая кофе. — Разве Виталий Александрович писатель? Я таких писателей не признаю... Вот Толстой или Тургенев, или печальник горя народного, Некрасов... Или самоучка Кольцов... А человек он симпатичный, спору нет. И побеседовать с ним весьма приятно.

Ветер тихо шевелил занавеской, газетами и журналами. У зеленых камней отдыхала пьяная пена. Мы были единственными посетителями поплавка, и на нас апатично смотрели скучающие официанты.

— Да, сударь мой, литература падает, — со вздохом продолжал Гололобов. — Теперь положительности нет. Все мелкота пошла. Вместо китов, корюшка. Пожалуй, уж не отказаться ли мне от этого почетного звания: ли-те-ра-тор... — произнес он по слогам и с вопросительной улыбкой поглядел на меня.

Но через минуту на него нашло уныние. Лицо перекосила гримаса.

— Эти нервы, понимаете. Не дай Бог.

В глазах промелькнуло напряжение мысли. Он заложил ногу на ногу и загляделся на море. Потом повернулся ко мне.

— Нет, брошу эту сытую, обеспеченную жизнь. Не могу.. Тянет туда, к вам... Потому призвание... Горит... вот здесь...

И он указал на место немного ниже поясницы.

Прощаясь, Гололобов задержал мою руку.

— Так, значит, через неделю отлетаете... Ну, желаю вам счастья... Месяца через два, через три, может, встретитесь в редакциях. Поверите ли, — голос его дрогнул и в глазах заблестели слезинки. — Да что уж... Свой брат-писатель. Сама поймете.

Мы облобызались. Замелькал чехол его фуражки. Шел он быстро, не оглядываясь, широко размахивая тросточкой. Признаться, мне было тоскливо и неловко.

IV.

Два страшных ослепительных года, два года надежды, мук и крови, и вот снова старое корыто, прежний обывательский быт, свои углы, футляры и раковины. Для меня тот же курорт, болезнь и гнетущее одиночество.

Но я обрадовался знакомому южному городку, когда передо мной раскинулся его почти правильный амфитеатр, сиявший электрическими огнями, когда прямо в лицо задыхалось море и театральные горы скрыли остальной мир.

"Все по-прежнему"... укачивая, сообщал мне экипаж. Я его не слушал, сам знал, что все по-прежнему. Поднялась гористая улица. Из садов смотрели черные кипарисы. Белели знакомые дома.

Отдохнул с дороги и по утрам начал выходить на набережную. Из магазинов смотрели знакомые лица приказчиков. Суетливо болтали дамы. Быстро пробегали подростки гимназистки. В саду сыгрывался оркестр.

Сидел как-то у книжного магазина, проглядывая газету и наблюдая проходившую публику. Солидный мужчина в форменной фуражке важно вел под руку даму с худенькой верхней половиной туловища и с широкой нижней... Дама плавно качалась и была в блаженном состоянии. Увидав меня, она толкнула своего спутника:

— Миша, посмотри... Твой знакомый... Писатель...

Ко мне повернулось круглое розовато-белое лицо, и я сразу признал Гололобова. Как он раздобыл. Какую округлость получил! В пестром галстуке сияла булавка с бриллиантом.

Шею тер тугой высокий воротник.

Он широко расставил руки и сверкнул желтоватыми зубами.

- Батюшки! Кого я вижу... Какими судьбами... Милейшая личность...

Мы смачно облобызались и с вопросительными улыбками поглядывали друг на друга. В руке у Гололобова была солидная трость с монограммой. На правой руке желтело массивное обручальное кольцо.

- А школу я все-таки бросил, - говорил мне Гололобов. - Женился вот и свою прогимназию открываю, прогимназию с правами министерских... Что, шибко Михаил Гололобов шагнул? Не ожидали? а?

- Шибко.. А как ваши нервы?

- Плюнул я на них.

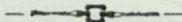
Сверкало холодное мартовское море. Свежий соленый воздух щекотал ноздри. Воспоминания шептали, что Виталий Александрович умер от какой-то непонятой докторами болезни, что студент "Новый" убит в Москве на баррикадах, что Иван Степанович попался в некрасивой операции и теперь...

- А вы все корпите над рассказами и повестями? - снисходительно спросил меня Гололобов.

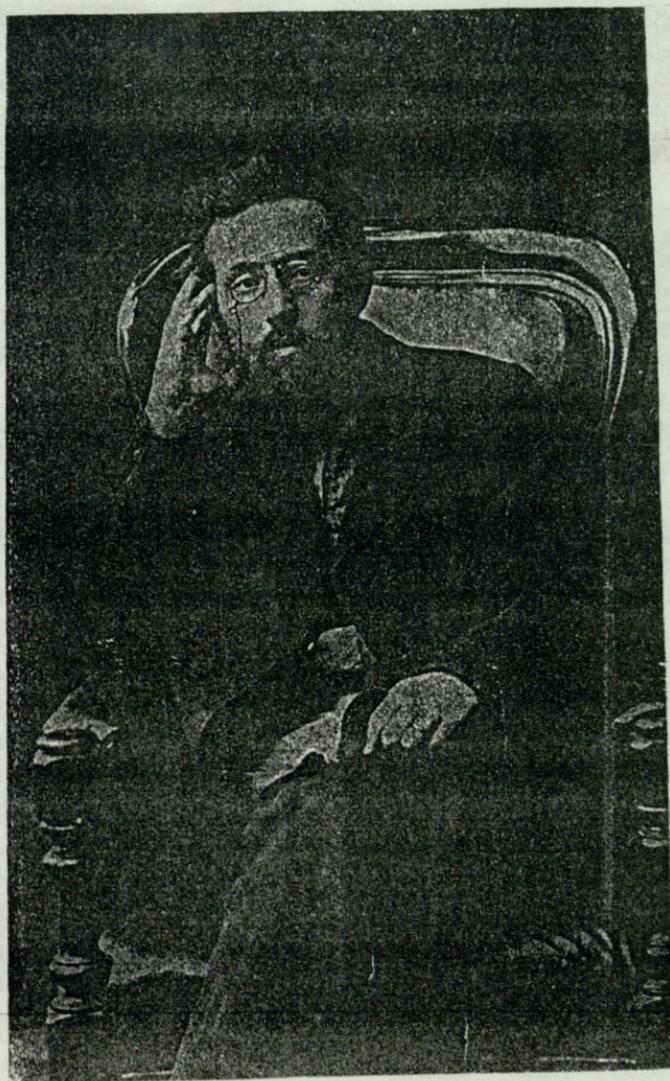
- Корплю.

С легким шумом проносился мимо экипажи. Светлели дамские зонтики. Гимназистки торопились на исповедь...

Шла жизнь.



Мне только тридцать лет, а когда я
оглядываюсь назад...



М. П. Арцыбашевъ.

Судьбы тех тридцатилетних начала нашего столетия тревожат нас. Вопрос не в исторических срывах и "социальных преобразованиях", не в том, как богоискатели и эстеты 1910-х гг. превращались в "лагерный мусор", а в духовной свободе, возможности внутреннего преодоления всяческого внешнего ужаса. И о таких преодолевших можно говорить (вспомним терминологию С.Булгакова) не как о героях, а как о подвижниках.

Вот таким был Евгений Павлович Иванов (1879-1942),

Исключительными в ту трагическую и двусмысленную эпоху были простота, ласка, покой, мир душевный и семейный, тепло и любовь. Недаром В.В.Розанов писал М.П.Ивановой в 1919 году об особенной теплоте и "домашности" Ивановых /имея в виду ее братьев - Евгения и Александра/, теплоте, удивительной в этом холодном и с каждым годом становящемся всё более холодным мире.

Эта теплота рождалась и от любви родителей друг к другу, и от следования старозаветному купеческому укладу, когда всё и в бытовой жизни освящается, и от какой-то фамильной скромности, "тихости" и простосердечия. Евгений Павлович был последним - пятым - ребенком в семье и соединил в себе все вышеупомянутые семейные черты. В модернистские сферы столицы Е.П. попал впервые как слушатель Религиозно-философских собраний, до этого до самозабвения зачитываясь Розановым и Мережковским, засыпая их письмами с ученическими вопросами. Но это ученичество у людей "нового религиозного сознания" сочеталось в Е.П. с реальной (не умозрительной) жизнью в Церкви, с искренним следованием всем установлениям Православия.

В Религиозно-философском обществе Е.П. будет выступать в духе миротворчества, примирения всех со всеми во все годы существования общества. Особенно вдохновенной была произнесенная им речь в защиту В.В.Розанова в 1914 году, когда по инициативе Мережковских тот был отлучен от деятельности Общества.

* Письма Е.П.Иванова Н.Г.Чулковой - см. "Сумерки" № 6.

Когда пытаешься представить себе Е.П. во плоти, рассматриваешь его фотографии, читаешь отзывы о нем самых разных людей, на память всегда приходят образы героев Достоевского: князя Мышкина, Подростка, Алеши Карамазова, мечтателя из "Белых ночей". Но вот что удивительно: мечтательность, неотмирность и простосердечие не покидают Е.П. и тогда, когда на смену романтической влюбленности придет жизнь с душевнобольными женою и дочерью, и в голодные годы революции, и в последующих испытаниях (1928-1932 гг.: год в КПЗ в Ленинграде и три года на поселении в Великом Устюге), и в скитаниях по службам бухгалтера, сторожа, кассира, табельщика до самой пенсии, и, наконец, в апокалиптической муке блокады. Такого катастрофически настроенного человека, как А.Блок, эта "наивность" "милого Женечки" порой раздражала, казалась болезненной. Но между тем в самых тяжелых жизненных ситуациях (дуэль с А.Белым, смерть ребенка Любви Дмитриевны, покушение на самоубийство матери и т.д.) он "шел врачеваться" именно к нему.

Может быть, интерес к нему, — в общем-то незадачливому, с чертами графоманского недуга писателя и "гугнивому", косноязычному оратору, — со стороны блестящих Мережковских и Розанова был вызван тем же стремлением к отдыху от двоящихся мыслей, к покою души смиренной. Вот, пожалуй, главное слово, которое можно сказать о Е.П. Он был действительно смиренным. Не безгрешным, нет (и его дневник — свидетельство его слабостей), не сильным духом и убежденным в своей правоте, а воистину "нищим духом", и поэтому никого не судящим.

И это — суть его писаний, которые мы здесь публикуем: воспоминания "Летающие листья" 1902", написанные в 1940 г. об учителях юности Мережковском и Розанове, и статьи 1917 г. "Интеллигенция и Церковь". И то и другое сочинение можно упрекнуть в многословии (в тексте сделаны купюры именно такого рода и целые страницы иногда заменены пересказом в две строки), и одновременно можно говорить о несосредоточенности мысли, фрагментарности, но то главное, что есть и в том и в другом тексте, покрывает все недостатки — это духовная свобода, а значит отсутствие суда, пристрастия и просветительского пафоса. Всему этому нам и нужно учиться сейчас, в годы всеобщего противостояния друг другу.

После собрания у Мережковских 21 апреля 1902 года, я возгорелся желанием высказать ему письменно мой образ мыслей, не высказанных в тот вечер, но пришедших в голову потом, под впечатлением слышанного на собрании... — "А вы, Иванов, ни одного—то слова не сказали!" — заявила Зин.Ник. Гиппиус в конце вечера, тараща глаза и удивленно негодуя, и отчасти эта фраза подзадорила меня объясниться письменно. Я написал письмо и, насколько помню, сравнил себя с "безобразным утенком", "серым утенком" из Андерсена. Этот "серый утенок" оказался потом лебедем. То же сравнение я переносил на церковь. Она кажется в исторических наслоениях своих таким же "серым утенком", а на самом деле, сущность ЕЕ — "Лебединая". Свою миссию по отношению к церкви я сравнивал с миссией "свата", я хотел сосватать Церковь Мережковскому, как белого лебедя или голубя—горлицу. Мережковский на том собрании говорил, что при желании войти в церковь, оттуда вылетаешь, как пробка из воды. Но ответа не последовало. Тут как раз приходилось собрание "Религиозно—философского общества", где можно было встретиться лично... и вот на собрании сразу заметно стало холодное отношение ко мне со стороны Мережковских. Они оба как бы не замечали меня, избегали заговаривать. Во время перерыва я проходил мимо Зин/аиды/Ник/олаевны/Гиппиус, она курила с кем—то в дверях. Вдруг вслед многозначительное и насмешливое: "Сва—ат!" Я сперва не сообразил, в чем дело, думая, что письмо читано только тем лицом, кому оно адресовано (как водится это у людей), т.е. Мережковскому, но не тут—то было, его читали все, и вот результат— насмешливое "сват". При выходе из собрания опять услышал "сват серой голубицы!" Под "серой голубицей" надо было разуместь церковь "историческую", т.е. православную. Мережковский, прощаясь, косо глядя, ничего не сказал, показывая вид полного охлаждения. Я возмущился и горел желанием доказать им всем не "шуточность" своих чувств к церкви, затемненной историческими наслоениями, но тем не менее подлинной: хотелось в доказательство, по молодости лет, что—

нибудь выкинуть, ну, хоть на огонь руку положить, как Муций Сцевола — испытание огнем. И этим показать верность и твердость своего дела. Но в общем ничего не вышло, хотя с такими героическими намерениями и отправился я на следующее воскресенье к Розанову.

В результате следующая запись в дневнике от 6 мая 1902 года: "Кончена комедия! Шел принять "испытание огнем" по-древнему, а окунулся в грязь. Мерзость! Совсем не то! Совсем не то! Вышло хуже всего! И в то же время это очень хорошо, так и надо. Опять уйду в свою конуру, в одиночество... Не в свои сани не садись!"

Что же вышло такое? Не было у Розанова Мережковских (И это я объяснял себе тем, что они не желают со мною встречаться после письма о сватовстве с Церковью, касающемся их). Был Минский, производящий на меня впечатление напившегося паука, еще епископ Антонин — великан, и какой-то еще, черт его дери, студент в серой тужурке. В кабинете Вас/илия/Вас/ильевича/ Варвара Дмитриевна, жена его, обратилась ко мне: "Евг/ений/ Павлович, мой муж от вас в восторге! Вы такие ему озарения своими ответами даете!" На что я, смущаясь, возражал: "Вас /илий/ Вас/ильевич/ такой добрый, что свое приписывает мне!" Когда шли в столовую, В.В. сказал вдруг: "Мы вас женим (т.е. это меня). Я с ужасом отнекиваться стал, мне де всего 22 года. Это оказалась самая пора. Потом за чайным столом Вас. Вас. опять: "Мы вас женим! У вас пренаивнейшие глаза!" Я опять с ужасом отстранился от этого намерения, заявляя теперь о недостатке средств, и что я не должен покидать сестер и матери. Разговор перешел на сестер, и в оскорбительном тоне: "не хорошо де, что оне "дома все сидят" и замуж не вых-одят, что женщина в 5 раз становится добрее, когда у нее появляется ребенок (Вообще берегись!)."

Затем танцы. Я совершенно не способен танцевать. Глупо как-то выходит... Скука... Скучая, не знал куда деться. Тут был еще известный священник Григорий Петров — "губошлеп". В то время он был в большой либеральной моде и пользовался большим авторитетом у Варв/ары/ Дм/итриевны/. Я вот с ним и заспорь из-за Ивана Коневского, утонувшего молодого поэта,

уверяя, что он совсем не сумасшедший, а настоящий поэт. Сумасшедший для губошлепа представлялся полным идиотом. И о Врубеле как о пейзажисте Петров с самоуверенным апломбом утверждал, что по пейзажу видно в Врубеле его полное безумие. /.../ И тут произошло самое неприятное (после предложения Розанова поехать кататься в белую ночь и отказа Е.П.Иванова - Л.И.). Вас/илий/ Вас/ильевич/ вдруг резко сказал: "А ну вас совсем! Не хочу и прощаться! Надоел!" Вот какое слово последнее ужасное заключительное услышал я. И вместе с тем, хорошо, что решающее... Ухожу опять в свою конуру, как улитка в свою раковину: слишком сильно высунулся. (После этого случая Е.П.Иванов две недели не был у Розановых, написал ему письмо - Л.И.). "...получил от Вас/илия/ Вас/ильевича/ следующее письмо 18 мая 1902 года. Это было последнее письмо его ко мне, касающееся взглядов: "Вы отличнейший человек, и все Ваши "самоуничужения" - чепуха. Надеюсь, так и Дмитр/ий/ Серг/еевич/ (Мережковский) думает. Вы скромнейший малый, полное отсутствие хамства, ничего презренного - рыжий Алкивиад ... и наирусский - т.е. простой, искренний, деликатный, теплый (к своим родным? это меня очень трогает, и вообще это главное - доброта и все остальное...) Я ведь с Дм/итрием/ Серг/еевичем/ (Мережковским) далеко не в одну точку бью /.../ Вы меня почти не знаете: только на цыпочках по "Афродите и Диане" прошлись, а в Дм/итрии/ Серг/еевиче/ Вы - купаетесь. Я не ревную: Вы умный и придет мой черед /.../ Мне все в Вас нравится, Ваша кротость, простота и прочее; ну, прыгайте, жеребеночек, я сам из жеребцов и всякому в мире прыганью рад. ("Всяческое во всём"). /.../ И о Христе мои с Мережковским мысли почти диаметрально противоположны. Мы скорей лобызаемся при встрече: но еще минута и путники разойдутся, ибо они... " . Этим кончается письмо Розанова от 18 мая 1902 г. (19 мая Е.П.Иванов пошел в гости к В.В.Розанову, он был один - Л.И.). Вас/илий/ Вас/ильевич/, как бы продолжая свое письмо ко мне, говорит: "Вы напрасно так сближаете во Христе Мережковского и Розанова". Что здесь на Христе-то они и расходятся. Что он считает христианство противоречивым семье, и, по его мнению, Его

надо устранить и вернуться к древним Велесам и Ладам. Я стал пытаться возражать, что не "семейным кругом" разрешается вся мировая трагедия и что в любви являются такие образы, которые кажутся противоположными семейному и брачному началу, по крайней мере (такому, как) в обычных человеческих отношениях. Тут я сказал о Комиссаржевской Вер/е/ Фед/оровне/, как ее образ представлялся мне в юношеской чистой любви (потом пришли Карташов В.А., Успенский В.В., Мережковский Д.С. и З.Н.Гиппиус - Л.И.). Составляли письмо Плеве (министру внутренних дел). Это по поводу репрессий, начинающихся по отношению к религ/иозно/-филос/офским/ собраниям. /.../ Затем, когда речь зашла о том, что с церковью делать? Розанов сказал, что ее надо всю прочь, что православных, то и церковь. Мережковский повернулся ко мне и со смехом сказал: "Вот он, что скажет?" Я отвечаю: "Неужели откинуть и ее - "О тебе радуется всякая плоть!" Мережковский в ответ: "Нет! Все это будет, будет!" В это время облака на горизонте за Невой совершенно разошлись, и на фоне зари силуэт церкви выступил черным остовом. Мережковский, обратив внимание всех на это, сказал: "Мы вот тут говорим, а какая декорация в окне... аа?!"

Потом о браке и свободном союзе женщин с мужчинами В.В.Розанов говорил, причем склоняясь к свободе половых отношений. Я спросил о ребенке, куда его деть? и затем сказал, что разделение полов есть результат появившегося зла, и не зло есть результат разделения полов. В детях же чувствуется (относительно, конечно), половое единство /.../ Разошлись во втором часу ночи. По дороге я спрашивал Мережковского о многом. Спрашивал, видит ли он в диске солнца, как в нимбе лик Христа? - Мережковский: "Солнце - Христос? - Это пантеизм". Я: "Не солнце - Христос, а Христос в лике солнца, как Пантократор". Мережковский не возражал, но указал на зарю утреннюю. Она разгоралась багрово и зловеще/../. Разговор шел хорошо, но под конец я почему-то сказал про Вас/илий/ Вас/ильевича/ Розанова: "Дм/итрий/ Серг/еевич/, ведь В.В.Розанов - язычник?" - Мережковский резко оборвал: "Ну, в таком случае и я - язычник".

/.../ Хорошо, что в этот вечер у Розанова не было В.А.Тернавцева, которого я с его демоническим смехом и улыбочкой принимал за "дьявола". (Летом и осенью 1903 г. Е.П.Иванов не бывает у Розанова из-за болезни его жены - Л.И.). Жена свою болезнь приписывала наказанию за грех кощунства и противоборства христианству в Вас/илии/ Вас/ильевиче/. Так до 1 января 1903 года я не бывал у них и у Мережковских бывал редко.

Продолжение этого текста мы находим в черновом варианте этих же воспоминаний, хранящемся в рукописном отделе ИРЛИ (Ф.662, 79). (В это время) в Университете появилось объявление о христианском кружке учащейся молодежи, этот кружок организован под руководством некоего Б.Никольского, когда-то еще раньше организовавшем в Университете кружок для начинающих поэтов. /.../ основался кружок в противовес "Религиозно-философским собраниям" или "интеллигентским неохристианским течениям в них". /.../ У меня была определенная цель, не злая, но стремящаяся своими вопросами и выступлениями подорвать основы этого кружка. /Год спустя - Л.И./ я по неосторожности оставил соседу студенту записку, что собрания эти ни к чему не ведут и что все это не то. Записка была передана по начальству, и меня исключили из собрания, как замаскировавшегося "новопутьца", желавшего сорвать дело. (Далее о неудачных попытках сотрудничества в журнале "Новый путь" - Л.И.). Я написал тогда статью о храме и послал Мережковским. Поднялся общий протест. Розанов, всегда стоящий за меня, тоже возмущился и сказал, что статья "клерикальная", Гиппиус проходу не давала, при встрече в "Религиозно-философском собрании" 9 января говорила мне: "Желаю вам быть менее "православным", в вас какой-то бес православия". /.../ Одним словом, совсем меня заклевали и прозвище "бес православия" с "серой голубицей" не сходило с уст, особенно Зин/аиды/ Ник/олаевны/ Гиппиус. Я тогда написал лично им письмо, где корил себя, что не сумел выразить, что хотел и сыграл действительно роль беса, который отталкивает от церкви, приглашая войти в нее, как бес /.../ В конце письма пишу, что хорошо еще, что беса вижу, а то хуже,

когда не видишь в себе черта и незаметно с ним "акклиматизируешься". Письмо произвело нежданно-петаданно фурор. Мережковский сам подошел и, крепко жмя руку, говорил: "Какое вы замечательное письмо написали. И как поразительно это - "акклиматизируешься с чертом". /Зин/аида/ Ник/олаевна/ Гиппиус тоже не находила слов в похвалах. Письмо читали всем их знакомым.

(Далее о вечере в редакции "Нового пути" в марте 1903 года - Л.И.). У меня было не совсем добромелательное отношение к Блоку. Меня обижало, что в противовес мне советовалось постоянно знакомство с Блоком со стороны Мережковского и Гиппиус. Фамилия мне тоже ничего не говорила. И почему, казалось мне, так нужно знакомиться с поэтом Блоком. Но когда я увидел лично лицо Блока, то сразу весь привлекся к нему, и желал сам как можно теснее сблизиться с ним /.../ Чувствовался в Блоке глубокий, большой человек, прежде всего по той глубокой тишине, которая была в нем и хранила от людской суетливой молвы. Почувствовав его, как такого человека, а не как поэта, я и старался с этой стороны сблизиться с ним...

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ЦЕРКОВЬ 1917 г.

Интеллигенцию и церковь я беру как два глубоко противоположных явления нашей жизни, взаимною борьбой которых определяется многое в общем хаосе нашей неурядицы.

Не буду говорить о Церкви, но падение интеллигенции так велико, так она обанкротилась в дни освободительного движения в нашем тихом омуте, называемом Россия, что хочется бранить её без конца и себя, конечно, вместе с нею. И вдруг чувствуешь, что ругань-то тут как-то ни к чему, ибо "лежащего не бьют", мы же в лежку лежим, если не ползаем на брюхе. Возможно ли при подобных обстоятельствах говорить о миссии, к которой призвана интеллигенция? /.../ - Если русская интеллигенция оказывается не на высоте своего достоинства, из этого не следует, что вообще интеллигенция сошла на нет. Не с нас она начиналась и не нами кончится, у нее есть историческое прошлое и историческое будущее. Вот почему корить и бранить ин-

теллигенцию не только можно, но даже должно, однако, произносить хулу на Духа, носительницей которого она является, не следует, хоть это и не Дух Святой, а дух человеческий.

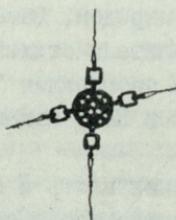
Интеллигенция – носительница духа человеческого. Человека, взятого таким, как он есть, остающегося прежде всего "самим собою", без божества и вдохновения небес, без помощи небесных сил бесплотных, без веры в чудо /.../ Это дух отрицания и сомнения, но он же в то же время есть "царь познания и свободы". Он чудеса человеческого познания и человеческой свободы противопоставляет чуду небес, он горе от ума, ад свой не отдаст за чудеса неба с их ангельским блаженством. "Быть самим собой" – первая заповедь интеллигента. Во имя этой заповеди, человеческого "аз есмь", не поклонился Дух человеческий ни тому, что на небеси горе, ни тому, что на земле внизу, и в водах под землею /.../ Интеллигенция есть в своем роде церковь, т.е. общество, объединенное известным духовным единством, у нее есть свои храмы и свое священство. Под священством интеллигенции я разумею всех высших представителей культуры, служителей наук, искусства, общественных деятелей. Храмы интеллигенции это храмы наук, искусств, общественные собрания и особенно выделяю Университет и вообще высшие учебные заведения. /.../ В судьбе Университета как-то особенно видно, что Дух человеческого познания и человеческой свободы неразделимы, что знание истины требует единства с истинной жизнью, которая в слове Свобода. /.../ Вот почему зачастую в университетской жизни профессор, потерявший авторитет общественного деятеля, теряет и авторитет ученого. Истины познания, о которых он говорит, кажутся в глазах учеников неистинными, когда жизнь учителя неистинна. /.../ Итак, интеллигенция является в своем роде церковью со своими священством и храмами познания и свободы человеческой культуры. Не от того ли в корне слова "культура" слышится "культ", религия, что интеллигенция является церковью в своем роде, церковью человеческой, объединенной единым духом человека. Но где же единство духовное в интеллигенции, когда мы на каждом шагу встречаем вражду мнений и партий: вообще есть ли даже у нас интеллигенция, не воображаемое ли это понятие у нас? Однако мы более конкретно почув-

уем, что интеллигенция не воображаемое только явление, всякий раз, как нам придется столкнуться с явлением противоположным ей. Именно с общинной, стихийной силой простонародья и с Церковью ее. Я далек от мысли об отождествлении народа с Церковью, от мысли, что народ церковен, и действует в духе церковном, нет, но народ глубоко стихийен, общинен, в нем нет индивидуального развития духа человеческого, и оно враждебно ему, то же самое скажу и о Церкви. Церковь ближе к народу в силу того, что она развилась и выросла на его стихийной, общинной почве. Таким образом, церковь, выросшая на народной почве, в значительной степени является и выразительницей святых христианства и выразительницей стихий народа.

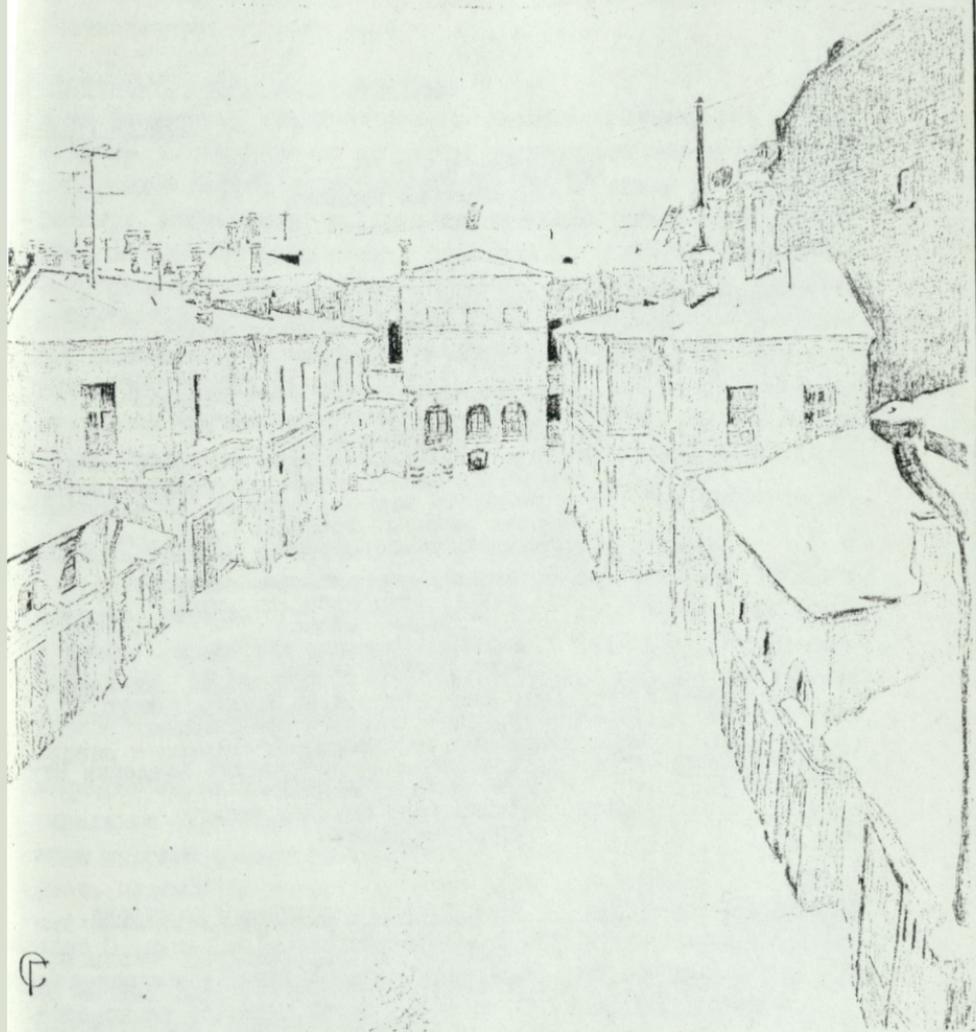
Илья-пророк, Громовник, Никола зимний и весенний, по прозвищу "на водах свобод", Иван Купала - все это святые больше народные, больше языческие, чем христианские. Но они чтутся Церковью, так же как и народом. Заметьте также, что все это святые стихийные, повелители стихий мира (продолжение по другому варианту, который озаглавлен "Национализм и церковь"). Да разве в стихии зло? в Ней, как и во всем живом, благо смешано со злом.

Скопчески бесплотная плоть и бескровная кровь такой тяжелой хмарой нависла и поглотила в себе интеллигентское сознание, что необходимо было "упомнить дни древние", вспомнить времена языческие с их блещущей святостью детски-невинной плоти, необходимо было дойти почти до отступничества от Христа, чтоб вспомнить о забытой языческой подлинности нашей крови и плоти /.../ В этом как бы запечатлена история наших "Религиозно-философских собраний" за истекшие 10 лет. Они с прений о святой плоти и крови перешли к прению о стихии и культуре, о народе и интеллигенции. /.../ Свести на нет это чувство стихийного языческого влечения к русскому духу, к русской земле, не значит ли свести на нет, свести к пустому пережитку нашу родную литературу, наше слово русское. Все эти поля, леса, доли, воды, птицы и звери нашей страны-чего-то от нас ждут в рабстве рокового исления. Что ждут они от нас: конца ли какого-то, не начала ли Воскресенского? /.../ Не цветами бесцветными интернационализма будет украшен лик Господень, но цветами каждого наро-

да-языка земли, розами юга, лилиями заморскими, васильками
ших полей, ветвями гибких плакучих ив, плакучих берез и зол
том колосющейся ржи.‡



‡ Подготовка текста и предисловие Л. А. Ильюшиной



Ф

*„НЕ ГОРОД РИМ
ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ”..*

ВЫПИСКИ ИЗ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА
(Сумеречный вариант)

Записи в Вахтенный журнал заносятся только карандашом.
Подчистки и исправления не допускаются.

Записываются данные о месте счисления корабля, об изменениях курса и скорости, об обстановке, состоянии поверхности океана и тому подобном.

Ведение Вахтенного журнала—занятие на редкость бессмысленное...

Но только до тех пор, пока что-то вдруг не происходит.

Тогда он становится единственным документом, по которому имеется возможность выявить скрытую, но закономерную цепочку эволюции корабля, приведшую к катастрофе.

Конкретная человеческая память имеет родственные с Вахтенным журналом черты.

Это и обилие чепухи,
и стёртость дат,
и неизвестность итога.

Здесь представлен опыт Выписок из одного такого "вахтенного журнала", немного проясняющих факт публикации в "Сумерках" части любительских рисунков, принадлежащих Библиотеке Академии Наук, без её на то согласия.

Попутно раскрываются причины одного кораблекрушения.

24 февраля 1962 года. На 14-й линии Васильевского острова.

21.00. Появился на свет. С опозданием почти на месяц. С белесыми бакенбардами. Состроил страдальческую гримасу и заревел басом. Акушерка говорит: Как же тебе, милый, жить-то не хочется. По гороскопу Дракон с Рыбами—Супердракон. Он может и должен пойти далеко.

...

...июля 1971 года. В Пинске. 1-й учебный отряд ВМФ.

11.00. Практическое занятие по морскому делу. Жара. Гребём на шестивёсельных ялах по тихой речке Пине до места впадения её в Припять. Затем немного по Припяти. По одному борту громоздит-

ся высокий берег Пинска, увенчанный башнями костёла. По другому до горизонта простирается зелёная равнина Пинских болот с бесчисленными стогами сена.

...

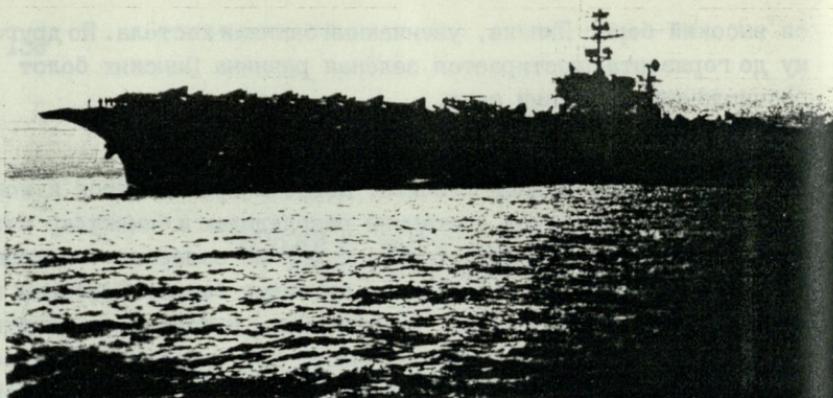
августа 1972 года. Возле Флориды.

2.00 по Вашингтону. Солнце в зените. Корабль приближается к космодрому. С трёхмильной дистанции разглядываю в бинокляр низкий гнилой берег, вдоль которого с юга на север по обратному ранжиру впечатляюще выстроились пусковые башни. Проходим их все, начиная от самых малых, спутниковых, и кончая громоздким стартовым комплексом Сатурн-Аполлон, что сиротливо чернеет почти на самом выступе мыса Кеннеди (Канаверал). Как ни странно, над всем этим конденсатом мощи царит маленький голубоватый кубик, легко парящий в знойном мареве. Он следует за нами неотвязно как мираж. Это расположенное где-то в глубине берега величайшее в мире по объёму здание—корпус вертикальной сборки ракет.

...

января 1974 года. У атлантического побережья Испании.

.00 по Гринвичу. Пасмурно. Полный назад. Машины стоп. Погасив инерцию, экстренно ложимся в дрейф. Поднимаю спешно флаг Майк и знаки гидрографических работ. Место рассчитали идеально. Невдалеке скрыт дымкой мыс Трафальгар. Ударный авианосец Америка, величественно прорезая пологую зыбь, приближается справа с кормы. Он должен сегодня ночью через Гибралтар войти в Средиземку на боевое дежурство. Стою, крепко оттягивая вертикальные фалы военно-морского флага. До этого при работе с янки морской этикет не соблюдался. Решено попробовать. Мы корабль младший по рангу. Поэтому, выждав момент, когда передний срез авиапалубы пересекает наш траверз, первым медленно приспускаю флаг на одну треть. Через секунду резко возвращаю до места. Затем, перехватив левой рукой бинокль, с волнением рассматриваю Америку. Бросается в глаза особенность: негры (в отличие от авианосца Форрестол полтора года назад) теперь куда-то исчезли. Пилоты в шлемах и без стоят на краю взлётной палубы перед своими разрисованными Фантомами и, скрестив руки,



глядят вниз на нас. Близко как никогда; можно рассмотреть выражение лиц. По всей видимости, ответа не будет. Горечь. Уже почти совсем прошли. Вдруг замечаю: к флагу рванулись сразу четверо, и огромное полосатое полотнище, сильно дёрнувшись, торопливо, как бы извиняясь, поползло вниз. Надо пережить такие мгновения, чтобы судить. УА Америка приспустил флаг перед моим сравнительно ничтожным, безоружным, но, как им отлично известно, боевым кораблём. И, главное, в таком знаменитом месте. Значит, через меня он поприветствовал всю мою далёкую заснеженную страну. Эти мгновения—аванс. Теперь, хочешь не хочешь, надо отбывать долг перед моей бедной Родиной—Ленинградом, всей жизнью оправдывая полученный здесь знак уважения.

...

20 июня 1974 года. Возле улицы Халтурина.

6.00. Ясно. Карандашом набросал первый в жизни серьёзный рисунок. Век позапрошлый. Вышло вроде удачно. Это начало.

...

...апреля 1982 года. В Библиотеке Академии Наук.

10.00. Записываюсь в Библиотеку. Получаю читательский билет. Пришло время всерьёз делать мою науку. Новый Читальный зал № 2 поражает. Высокие колонны, световые люки, пневмопочта, сотня

закрытых столов. И широкая экспозиционная стена. Вот бы здесь когда-нибудь выставиться. Рисунков уже столько, что можно заполнить стену целиком.

...

15 июня 1985 года. В Эрмитаже.

II.45. Солнечно. Гибель Данаи Рембрандта. Потряс рассказ очевидца последствий: пустая рама, и под ней ядовитого цвета ошметки прореагировавшего с кислотой пигмента. Оказывается, и шедевры смертны. Профессионалы—и музейщики, и живописцы—в шоке. Предлагают не восстанавливать. Натянуть, мол, в раму чёрную траурную ткань. Получается, невольно желают гордиться, мерзавцы, что последними видели Данаю?

...

30 июня 1985 года. Дома.

5.00. Белая ночь. Допечатаваю начисто письмо директору Эрмитажа о настоятельной необходимости тождественного восстановления Данаи. Предлагаю меры по пресечению других актов вандализма, предупреждаю, заклинаю. Шедевры обязаны оставаться вечными.

...

26 мая 1986 года. Газетный читальный зал БАН.

II.00. Солнце. Несколько читателей в поисках истины неспешно перелистывают на попирках подшивки газет. И совсем ветхих, и совсем свежих. В это время в Эрмитаже с живописи по миллиметру удаляют съеденный кислотой лак. Где-то далеко на живые воды Припяти оседает рассеянная ветром радионуклидная гарь. Ещё дальше—со дна, из бешено прозрачного голубого флоридского рассола, извлекают керамические обломки и кресла с останками астронавтов. Знакомлюсь с работающей здесь добрейшей Н.М.,—душой тех самых, изысканных молодёжных выставок городского пейзажа в Читальном зале № 2, за которые давно и заочно её боготворил. Показываю часть рисунков. Говорю, что ещё несколько лет, и они затрутса, засалятся, рассыплются в прах. Что мне тяжело смотреть на их медленную гибель. Что как-нибудь запросто смогу их вдруг взять и уничтожить. Что безвозмездно подарю их БАН как самому надёжному на земле месту, в знак благодарности за чёткую работу и помощь сотрудниц Зала № 2 моей науке. Мне нужны-то только документаль-

ная фиксация авторства и скромные средства для приведения рисунков в экспозиционно-сохранный вид. Всё упирается в основном в проклейку работ осетровым клеем. Его лимитированно получают только реставраторы Эрмитажа. Академия Наук ведь сможет позаботиться о сохранности своей будущей собственности, не правда ли?

...

30 мая 1986 года. В дирекции БАН.

14.00. Показываю заинтересованным лицам все предлагаемые к дарению, т.е. по сути все имеющиеся в наличии, мои рисунки и акварели. Слабо возражают: Мы не храним произведения искусства. А если, говорю, буду дарить насильно, возьмёте? Возьмём, отвечают залпом. Немного подумав, начинают рассуждать: А чем, собственно, БАН хуже Парижской Библиотеки, где хранятся акварели Дюрера и другое? Сравнение льстит, но, покраснев, отвергаю его. Говорю: Их можно красиво издать. Может быть, вам понадобится самим заработать деньги? Нет, отвечают категорически, об издании не может быть и речи. Только выставка. Решено—берут. Но хранитель музея истории БАН Судаков настоятельно просит составить подробное описание рисунков.

...

...марта 1987 года. В БАН.

15.00. Судаков уже уволен по указу. Жаль, хороший человек. Его место предлагают Н.М. Вот это прекрасно. Вручаю ей Описание графических работ... У меня тяжёлая рука: многое уничтожено. Иронически применил слово ликвидировано.

...

19 ноября 1987 года. Дома.

23.50. Завтра последний срок сдачи материалов на конкурс проектов монумента Октябрьской революции. Мог успеть доделать, было почти готово. Но полчаса назад вдруг отказался от подачи. Вмешалось чёткое предчувствие—конкурс направлен на провал. Любое проектное предложение будет зарублено. Грядет кризис архитектуры. Значит, зря двенадцать лет никуда не выезжал из Ленинграда, даже на каникулы и в отпуски, вживаясь в суть этой великой равнины. Мне ли, проникшему в душу города, не осознавать, что ему недостаёт, чтобы стать уникальным в мире по красоте и отточенности рукотворным ландшафтом? Зна-

чит, зря прочертил величественную семидесятикилометровую систему визуальных осей, которая путём строительства всего трёх чётко выверенных по высоте, месту и силуэту доминант могла предопределить экологичное развитие Ленинграда на 100 лет вперёд. Не стать Ленинграду по мировому значению русским Нью-Йорком, чья удобная гавань под нашей Статуей нашей Свободы притягивала бы парусники со всех концов земли. И щемляще прекрасный вид города белыми ночами с зеркала величайшего в мире одновременно закрытого и морского водоёма—Невской губы не будет привлекать ежегодно миллионы и миллионы паломников. Не будет у нас площади-амфитеатра для упоения так нужным сухопутной стране зрелищем чёткой линии горизонта. Сказано: архитектура—искусство королей. Демократии—не лучшие времена для зодчества. Им позарез нужны школы для дебилов, способных лишь тупо гордиться руинами самодержавий и диктатур. Мы жалкая нация с жалким настоящим. Хватит. Не желаю лучших времён зодчества—диктатур. Поэтому сворачиваю в угол свой тонко продуманный проект, ложусь и бессильно рыдаю в подушку. Из этих слёз родится новая, иная жизнь.

...

Февраль 1988 года. В БАН.

Ю. Узнаю от Н.М., что в итоге она оказалась там неудобной. Со 2 февраля её переводят на работу уборщицей в Кунсткамеру. И вы согласились? А, ладно, лишь бы оставили возможность заниматься выставками. К чёрту! Рванулся было забрать рисунки. Потом остыл. Ничего, немного ещё полежат, тогда заберу.

...

Февраль 1988 года. На набережной Лейтенанта Шмидта.

Ю. Ветреное солнце заходит. Бреду бездумно с сыном Васей после его хоккейной тренировки. От Сфинксов замечаем на Первой линии одиночную пожарную машину. Она поворачивает, проносится вдоль Университетской набережной и скрывается по Менделеевской линии в сторону БАН. Сусмешкой думаю об университетских растяхах. Оставили, наверное, чайник. Хотя—воскресенье?

Февраль 1988 года. На рабочем месте в ГОИ.

Ю. Из-за своего кульмана узнаю от припозднившихся сотрудников, что сильно горит БАН. Чепуха какая-то. Они нарочно привирают,

чтобы поиздеваться. БАН не может серьёзно гореть.

9.30. По радио сообщают: С ночи горит газетный фонд. Очаг локализован. Звучит успокаивающе; но душевная смута нарастает.

10.30. Выхожу, наконец, посмотреть. Пасмурно, слякоть. На площади между Менделеевской и Биржевой линиями столпились десятки пожарных машин. Огня нигде не видно. Из нутра Библиотеки валит дым и пар. Парусиновые шланги напряжены до звона, бьют на стыках фонтанчиками. Через разветвители вода подаётся наверх, где наличие воды до сих пор могло представиться лишь в кошмаре. Судорожно ищу глазами на пятом этаже окно 90-й комнаты. Эта часть здания не тронута. Если рисунки там, а не в хранилищах, всё нормально. А если нет? Медленно, тупо обхожу здание. Со стороны заднего двора огромные железные рамы опалены, лишены стёкол, стены закопчены, густо валит дым. Изнутри периодически слышны какой-то грохот и звон стекла. Пожилая сотрудница ломая руки всхлипывает: Это же основной фонд. Со стороны площади подходит группа, видимо, отдохнувших пожарных. Некоторые с кислородными ранцами за спиной. Вроде не торопясь, гуськом заходят в здание. Навстречу им, пошатываясь, выбирается предыдущий расчёт. Лица опалены, каски обгорели, закоптились. Исключительно тяжёлый пожар. На Биржевой под деревьями маленький столик с планом здания и телефонами. Штаб тушения. Безумно уставшие командиры. Вот он—45I градус по Фаренгейту девятый час подряд. Хотя у Бредбери цели были другие. Сверху сыплется стёкла. Молодой пожарный, высадив ногой раму, почти вываливается грудью на подоконник. Надсадно прочищает лёгкие. Притопали два кинохроникёра с допотопной камерой. Их услужливо поднимают на сувенирной пожарной люльке к самой крыше. Снимают эффектные, бурого цвета клубы дыма. Плнув, возвращаюсь к главному входу. Здесь сошлась группа библиотекарей. Их удерживает от проникновения внутрь милиционер. Возгласы: Надо спасать книги; будем выносить на руках. Ответ: Нет, жертв быть не должно. Резонно, если очень хорошо подумать.

11.10. Приехал, вероятно из аэропорта, огромный агрегат с набором пенных пушек. Его подготавливают к работе, хотя все опасаются пустить пену внутрь Библиотеки. Внезапно наталкиваюсь на Н.М. Она потерянно знакомому старичку сообщает: Выгоре

16-й и наполовину 17-й. Спрашиваю осторожно, что сгорело — век? год? Нет, это номера хранилищ. Успокаивает меня: Ваши рисунки должны быть целы. Должны, или целы? Должны быть. Значит, так запросто могут сгореть последние 14 лет моей жизни! Н.М. извиняется: где-то внутри её муж. Она не знает, что с ним. За спинами пожарных Н.М. забегает на чёрную лестницу и скрывается из виду. Похоже, все усилия тщетны. Пожар даже разгорается. Убитый, возвращаюсь на рабочее место.

12.00. С той лестницы ГОИ, из окна которой видны крыши БАН, наконец замечаю желтоватые хлопья, поднимающиеся вверх. Это пустили пену. Из-под крыши теперь вырывается, ослабевая, только белый пар. Кажется, всё кончено.

...

22 февраля 1988 года. В БАН.

14.00. Собравшись духом прихожу помогать спасению. Основная же цель — узнать о судьбе рисунков. Тяжёлый, горький запах гари. Как своего человека пустили в Актовый зал на 6-м этаже. Это место сушки Бэровского фонда. Бог мой! Кресла сдвинуты к сцене, а весь пол зала занят лежащими и стоящими в разворот покалеченными книгами. Под потолком на бечёвках висят гирлянды сырых книг. Врезается деталь: из одной, по немецкой филологии, вдруг выпадает читательский формуляр 1944 года. Кому она понадобилась именно тогда? Фолианты обуглились и вымокли. Почти у всех томов лопнула, скорёжилась кожа переплётов. Тиснение и позолота страшно искривились. Это не следы открытого огня. Похоже, это воздействие инфракрасного излучения от раскалённых стен очаговых помещений. Какое было пламя, если прокалились стены и бетонные перекрытия метровой толщины! Потому-то и дым шёл бурый — тлела кожа переплётов. По-видимому, пожарные подряд обливали стеллажи водой, чтобы книги не вспыхнули. Ответа о судьбе рисунков не дают, видимо, чего-то опасаются.

18.00. Рядом с группой добровольцев из Университета перекалдываю насквозь мокрые листы книг папиросной и промокательной бумагой. Через несколько часов намокшую бумагу заменяем другой, уже подсушенной на батареях. В коридоре перед Читальным залом № 2 реву электрокалориферы. Но, поскольку над Библиоте-

кой уже витает страшный призрак книжного грибка, в других частях здания стараются сохранить холод. Моряки-курсанты переносят сырые книги основного фонда на холодный чердак. Через мои руки идут инкунабулы и фолианты 16 века, 17-го, 18-го. Дошёл черёд до толстенной Истории в письмах кардинала Ришелье парижского издания середины 17 века. И вот тут ко мне внезапно приходит твёрдое убеждение: если рисунки окажутся целы, всё равно необходимо подарить их БАН. Глубоко несправедливо, что судьба человеческой цивилизации выбрала именно БАН для своего страшного предупреждения.

21.30. Заступила ночная группа добровольцев, ухажу.

23 февраля 1988 года. В БАН.

9.00. Как всегда на праздник ВМФ, нацепил свою единственную и любимую награду: жетон За дальний поход. Здание БАН внутри ассоциируется с переполненным ранеными госпиталем, каким оно действительно и являлось в Первую мировую. Только раненые книги кричат и стонут безмолвно. Стою в цепочке. Поднимаем уцелевшие книги из нижних залитых хранилищ в Читальный зал № 1. Попадают истинные шедевры книгоиздания. С золотым обрезом и т.п. Благоговею от обилия сокровищ. Но вниз-вверх озабоченно перемещаются члены Комиссии. Предварительные размеры потерь потрясают. Выгует странная единица измерений—погонный метр стеллажа. Так вот, речь уже идёт о многих сотнях сгоревших метров.

13.00. Перехожу на ответственную работу в коридор пятого этажа, вплотную к 90-й комнате. Здесь сушат редкие книги и гравюры. Иллюстрированные энциклопедии, планы крепостей, гравированные гербарии... На видном месте лежит аккуратно проложенный альбом гравюр Пиранези. Боже, какая была девственная сохранность! Двойственное отношение: если бы не пожар, никогда бы этого не увидел. Перекладывая том публикаций Британского Королевского научного общества за 1819 год, внезапно натякаюсь именно на ту ключевую статью Волластона об усовершенствовании камеры-обскуры, на которую некогда заочно ссылался в моих научных изысканиях. Бывают же совпадения. Мировой опыт реставрации книг, пострадавших в бедствиях, мало что здесь даст. Суть произошедшего точнее всех формулирует потрясённая

старая женщина, сотрудница Отдела гигиены книги: Они ведь никогда раньше не бывали в пекле.

00. Ответа на настойчивый вопрос в лоб опять не дают. Больше нет сил выносить вид обугленных и мокрых страниц, ухожу. Вчера заметил в зеркало—начал сесть.

...

Февраля 1989 года. В БАН.

00. Солнечно. В Актовом зале снова нет книг и расставлены ряды кресел. Идёт собрание в связи с годовщиной катастрофы. Дозвониться до 600 секунд или Пятого колеса вчера не удалось. Выступления носят сугубо деловой оценочный характер: выводы, подсчёты, уроки, претензии, нужды. Весьма деликатно критикуется академик Лихачёв за выдачу миру непроверенной информации о составе потерь. В целом сохраняется подавленное настроение. Под занавес приглашают на сцену меня. Только начинаю с трибуны говорить о рисунках, как сразу из зала озабоченный вопрос: Они уцелели? К счастью, да. Когда дохожу до Ришелье, губы начинают дрожать и прыгать. Но, собравшись, на выдохе твёрдо договариваю: Дарю рисунки и акварели Библиотеке Академии Наук как самому надёжному в мире месту. Срываю овацию. С места кричат: Теперь живём! Немедленно издать каталог! Благодарности, обещания, заверения.

00. В витринах третьего этажа разворачиваю маленькую сигнальную выставку из 12-ти лучших работ. Выставка выглядит странно. Как-будто опять навязываюсь.

...

сентября 1989 года. Ленфильм.

030. Через Вусковича почти насильно знакомлю с собой Сокурова. Неожиданный, исключительный, странный, воспаривший человек. Александр Николаевич одновременно сама доброта и сплошная боль. Тяжело и легко.

...

сентября 1989 года. Возле дома.

050. Показываю А.Н. мои акварели, забранные из БАН под расписку. Якобы для доработки. Они им снова не нужны. Выходит, почётнее получать забугорную валютную милостыню на бедность, чем в дар от своих горькие, но достойные плоды труда. А.Н. говорит, что вообще не любит Ленинград, но мой Ленинград

любить можно. Тихо млею от счастья. Возможно, ради этой минуты акварели не растаяли в пожаре.

17 ноября 1989 года. Дома.

19.00. Иду встречи и знакомства с Гурьяновым. Перед этим забежал к Сокурову. Спросил о Сумерках. Сумерки? Как же, знаю, сказал А.Н., доверьтесь смело.

21.00. Беседую с Гурьяновым о том о сём, созреваем. Наконец, выношу рисунки. Раскладываю. Гурьянов в ударе. Оказывается, самое то. Сумеречнее некуда. Заказывает предваряющий текст.

22 ноября 1989 года. Дома.

20.00. Редакторский отсев рисунков для номера. Отбор оригинален — места не должны узнаваться сразу. Логично. Но мне кажется, ЭТИ рисунки заслужили идти и без всякого отбора.

27 ноября 1989 года. На Садовой улице.

12.00. Ожидая выполнение заказа на ксерокопирование рисунков, разговариваем на площадке высокой лестницы втроем с Гурьяновым и Новаковским о судьбах нашего поколения. Над заснеженными крышами царственно сверкает золотом купол Исаакия.

13.00. Копии готовы. Они бледноваты. Что даст повторный ксерокс?

КРУШЕНИЕ заключено в самом факте публикации здесь ксерокопий рисунков.

Дело в том, что до последнего момента я упорно придерживался постулата: творец лишён права самоуважения. Нарушив его, я отрезаю себе путь к совершенствованию и, стало быть, изменяю своему предназначению.

Да, раньше я мог вообразить с лёгким сердцем множество людей, которые без моих акварелей потом жизни представить не смогут. Собственно, для них воображаемых и трудился. Вся тонкость состояла в способе, каким работы могли дойти к ним.

После ВСЕГО надо было бы спуститься до вывода: раз в итоге вещи до них в достойном виде так и не дошли, значит, таких людей нет. (Предполагалось в идеале, что они проявятся самостоятельно). Поэтому и тоску по ним следует выбросить из головы. Озноб искусства пройдёт сам собой.

Это примерно ситуация (и переживания) человека, безответно и страстно любящего, но в определённый

момент вдруг отказывающего себе в праве быть любимым. Только потому (да, только), что объекту любви показалось, будто это чувство не приносит или не принесёт счастья. Любящий уверен "на все сто", тут—заблуждение. Он доподлинно знает: счастье есть взбаломшная субстанция, проявляющая своё наличие со временем. Тем не менее, смилив себя, он отступает. Ибо любишь ли по-настоящему, если не уважаешь заблуждений любимого? Пытаясь сохранить хотя бы себя, он губит обоих.

С другой стороны, чем же, если не презрением, награждают люди того, кто вместо ухода предпочитает завязнуть в путаных оправданиях? Всегда выбираем из двух зол.

Объяснить можно иначе.

Пусть некто, поверив мне, начинает с усилием отпирать глухие ржавые ворота. В расширяющийся проём вылетают две серенькие птички. Если тут я, ещё не подозревая, какой красоты сад цветёт за воротами, лягну сдуру: "И это—всё?", гордый садовник обязан глухо ответить: "Это—всё!", и торопливо запереть их передо мной. Навсегда.

Я оскорблён! Но случай осознать в полной мере род своей безтактности придёт только потом, когда, найдя сад разорённым, буду по пням барбизонских деревьев пытаться вообразить его былое совершенство. Тщетно.

Мы жалкая нация всякий раз, когда, влачась в каком-то придуманном тумане мимо собственной неповторимой жизни, считаем ниже своего достоинства учтиво поклониться каждому живущему садовнику. Мы привычно игнорируем и тем провоцируем его на акты самоуважения: телепродажи или публикации, подобные этой. Оно же (самоуважение, или, по-старому, гордыня) есть путь гибели творца. Нельзя (ни в коем случае!) вынуждать его на доказывание нам, что сад есть!

Он есть.

Пока есть.

Что (кроме дурного примера) может дать другим нация, с азартом втянувшаяся в гнусное соревнование, кто кому произнесёт некролог? (Зарабатывая на похороны уже себе). Меня тошнит от бесконечного фотографирования публики у гробов. Куда делась живая жизнь живых? Мы способны, скорбно торжествуя, похоронить всех. И вся!

Страна могильщиков, со столицей-кладбищем.

А ведь как хочется, выпускная из клетки этого номера пару невзрачных пташек, отрезать: "Это—всё!" И гордо удалиться. Но... компромисс принят, раз Зал № 2 отрёкся.

Дальнейшее—в сумерках.

Вот на какого рода подводные камни напоролся Дракон с Рыбами.

Выходит, зря янки приспускали перед ним флаг.

Что же, не прав гороскоп?

Права акушерка?

Что-то со

мнева

юсь

ВИДЫ МЕСТА ЛЮБВИ
И
ОТЧАЯНИЯ

О П И С А Н И Е *

графических работ, передаваемых в дар
Библиотеке Академии Наук СССР,
включающее 62 названия рисунков и акварелей.

(Составил в марте 1987 года автор
и даритель — Горлов Сергей Николаевич.)

1 9 7 4 год

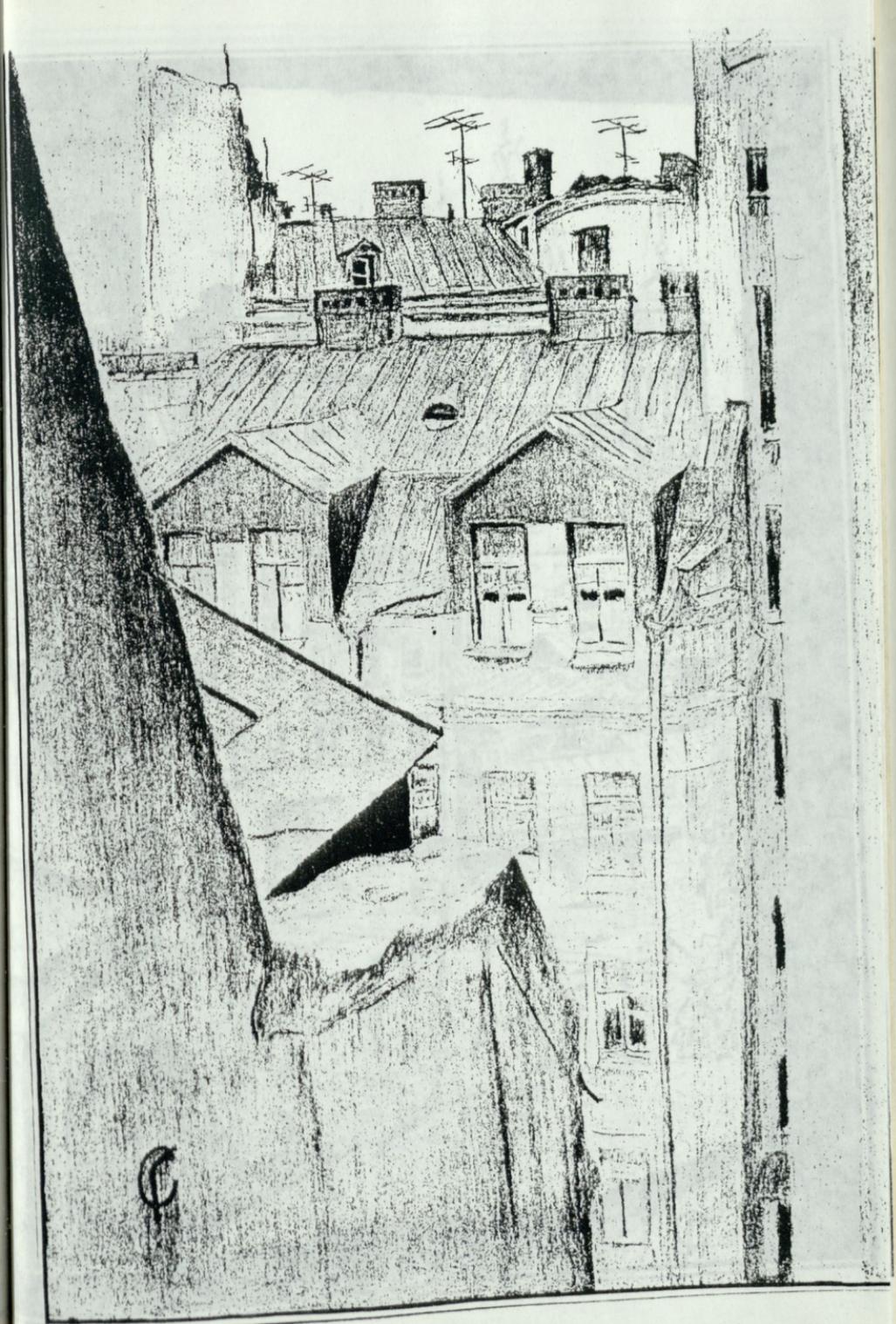
①. В е к п о з а п р о ш л ы й. 20 июня 1974 года (около 6 часов ут-
ра). 13 X 19. Бумага, карандаш.

Улица Халтурина, дом 13. Вид со двора на дома, постройки, скорее всего, второй половины XVIII века, поддержанные от взаимного наклона арками. В пристройке слева находилась каменная сводчатая лестница вокруг одного столба. Дома с арками, находившиеся в т.н. "охранной зоне", ликвидированы между 1982-м и 1983 годами. На их месте в 1986 году возведен кирпичный гараж. →

* Воспроизводится подлинный документ, врученный БАН 15 февраля 1989

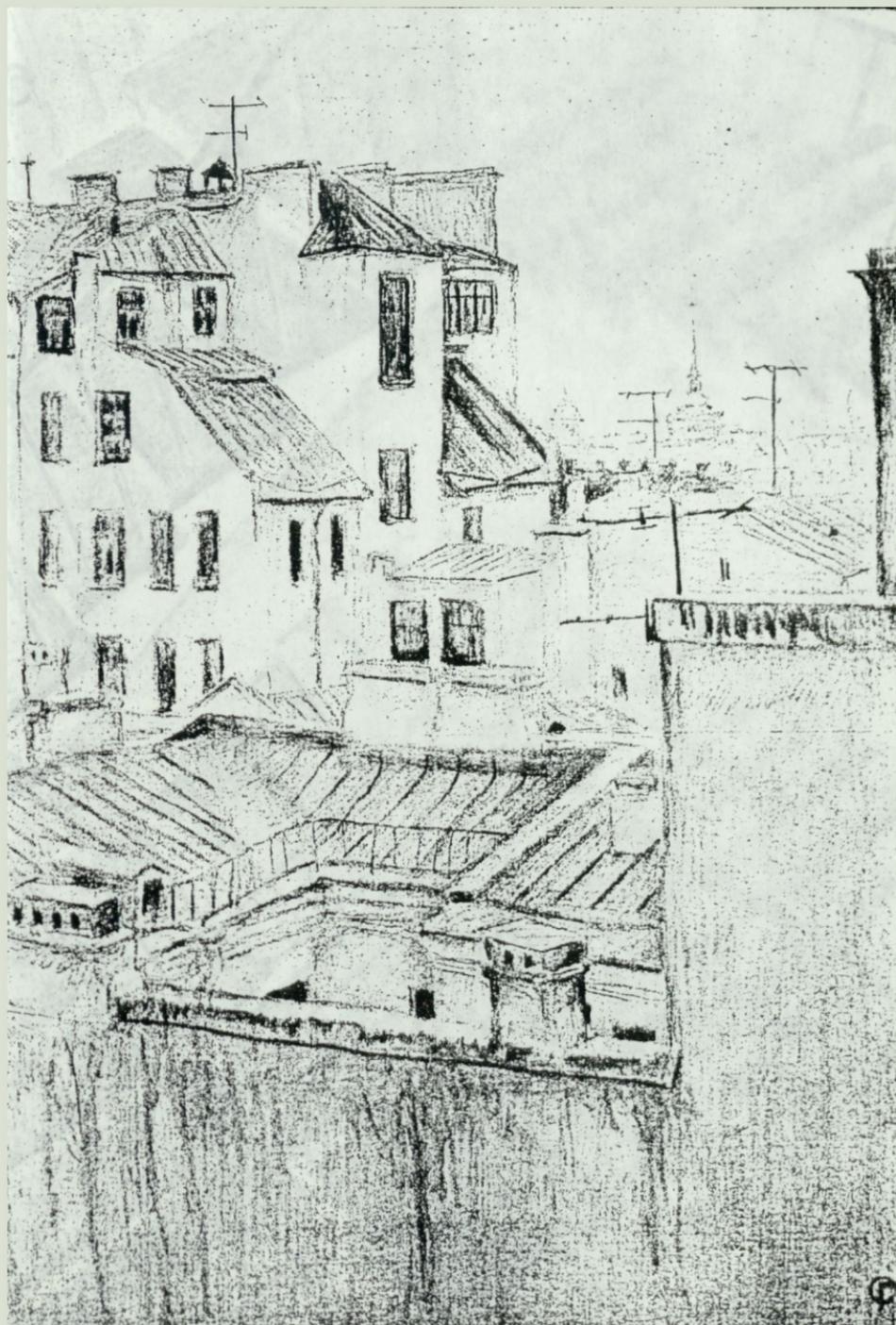
Знаком ○ помечены работы, находившиеся в стенах БАН
14—15 февраля 1988 г.

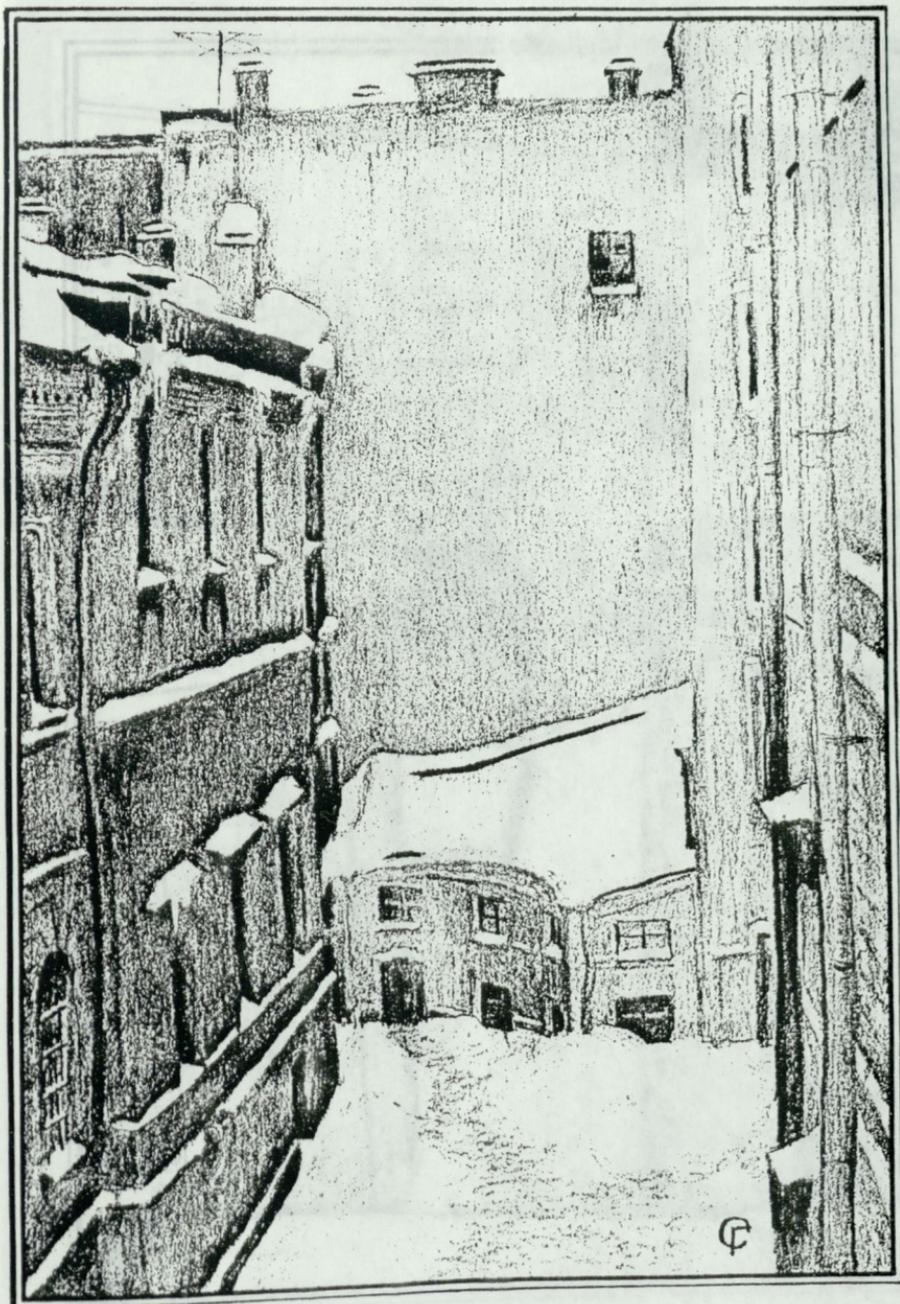


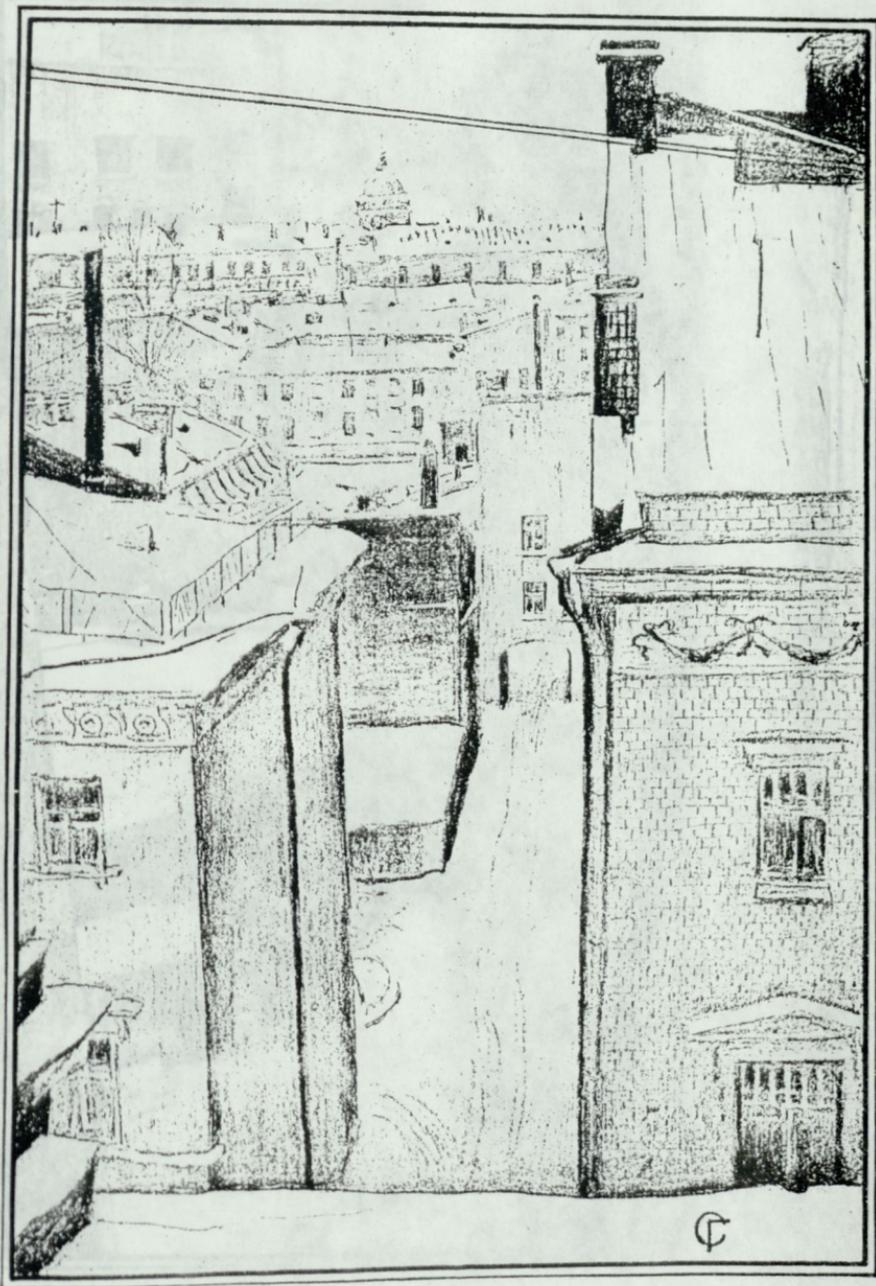




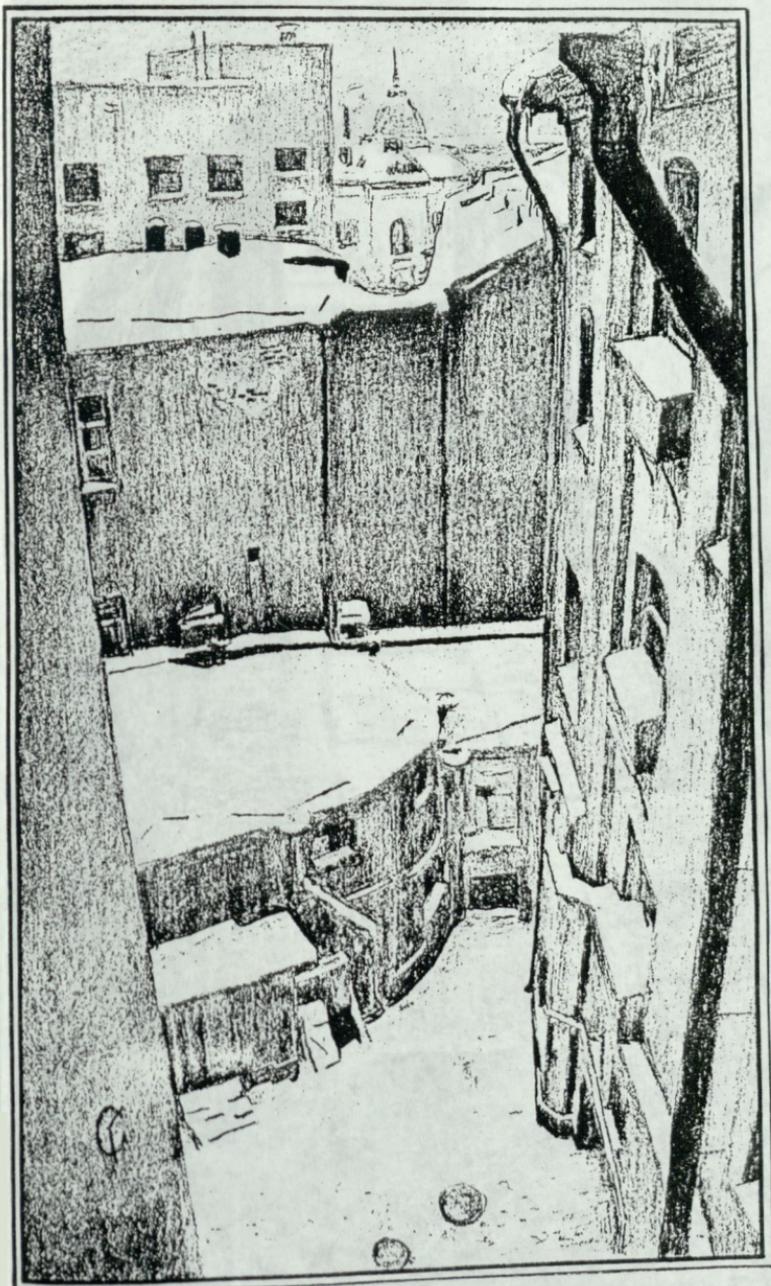




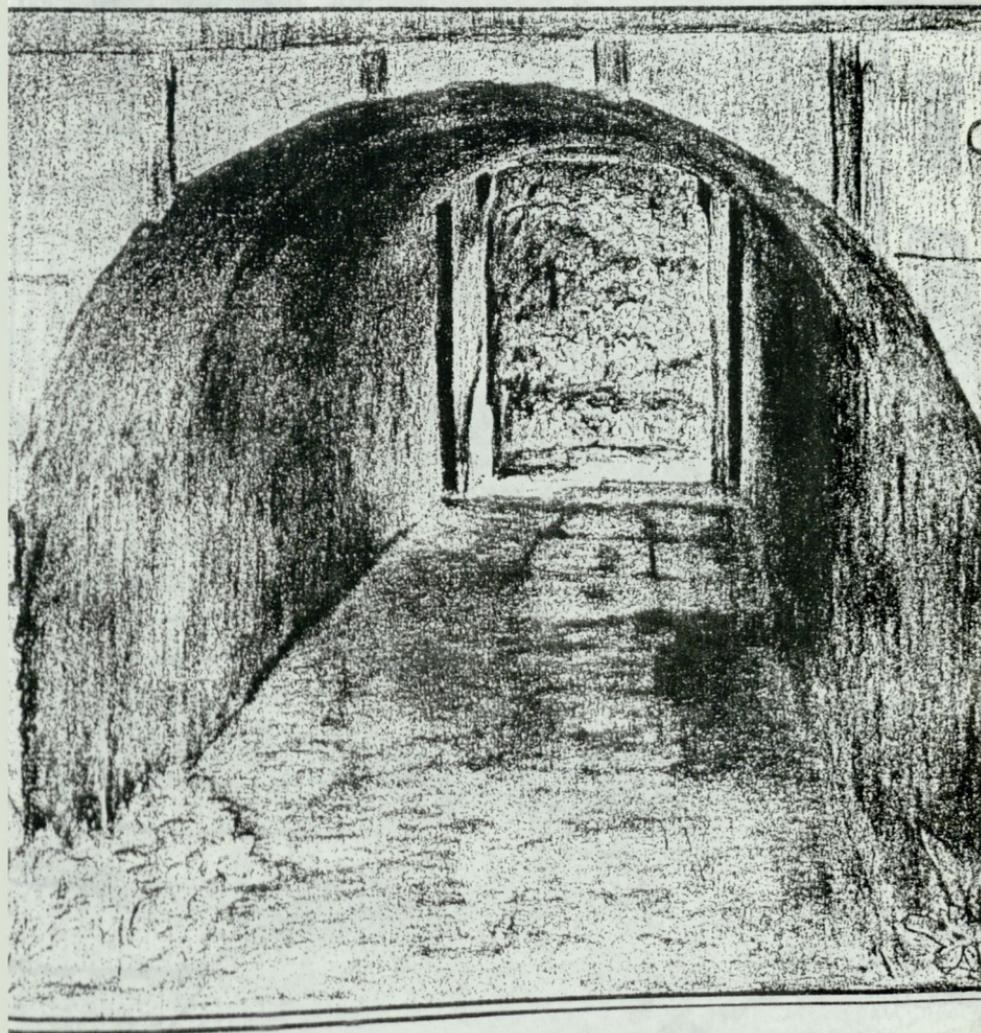


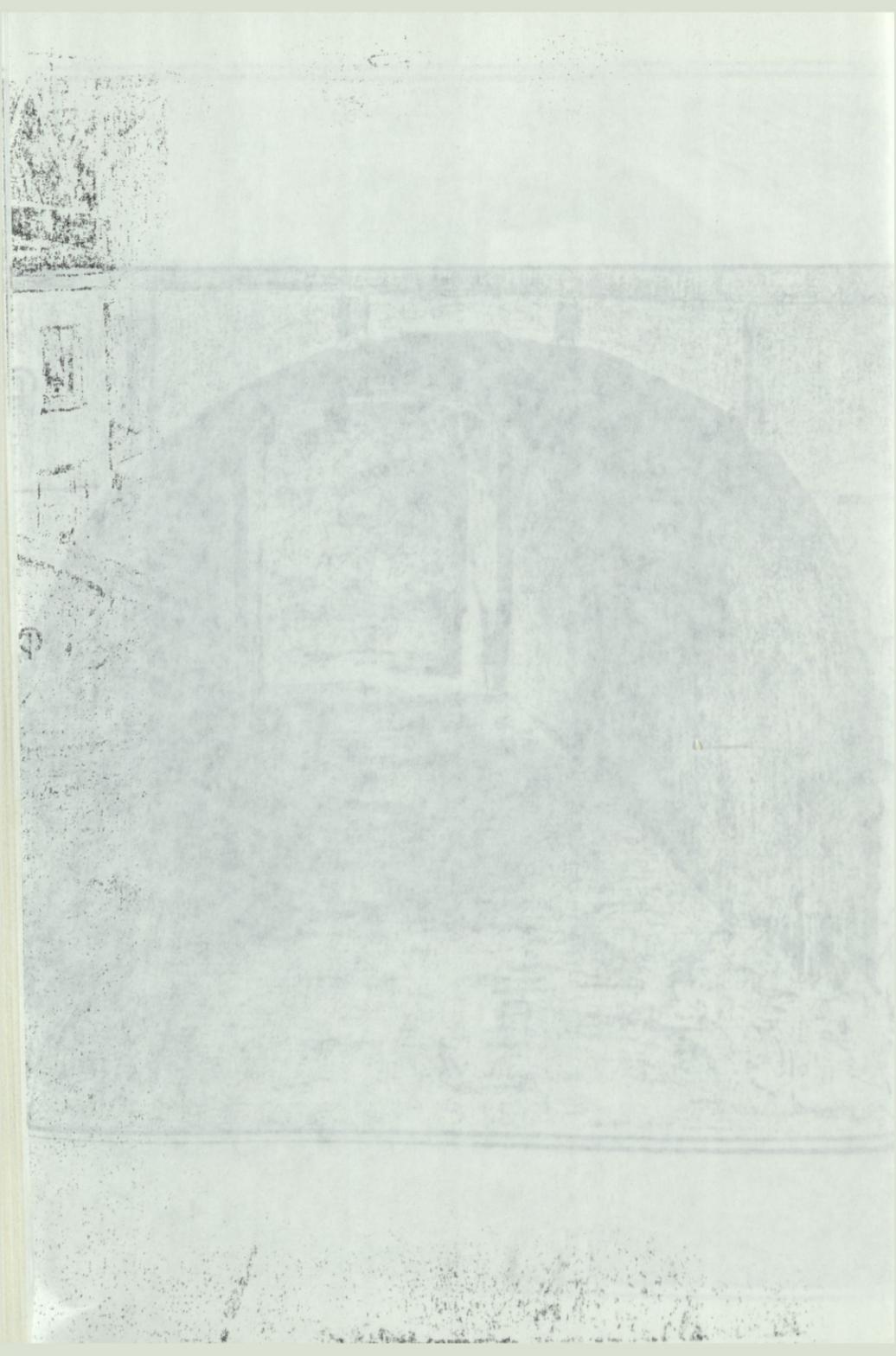


Ⓒ

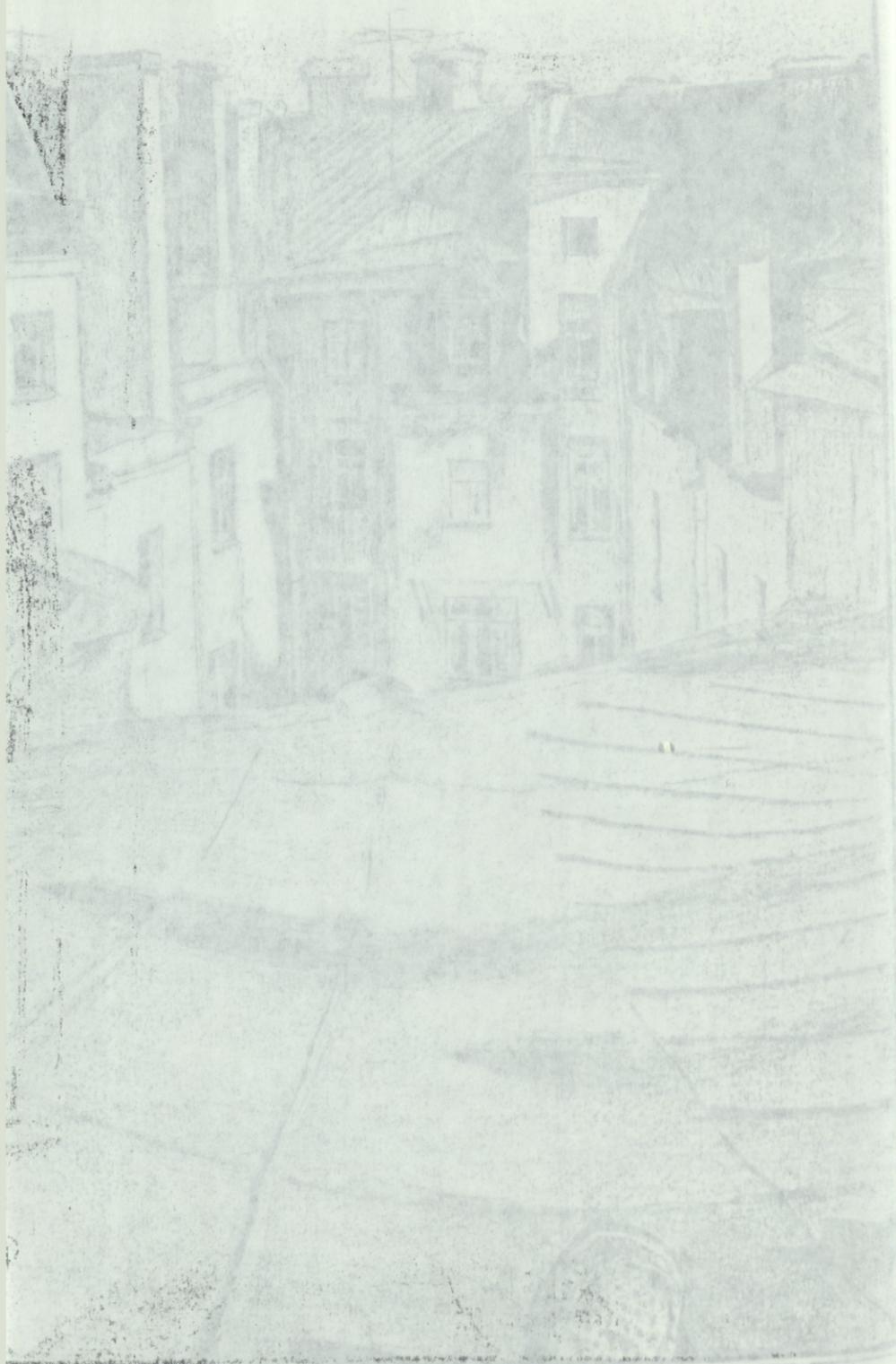


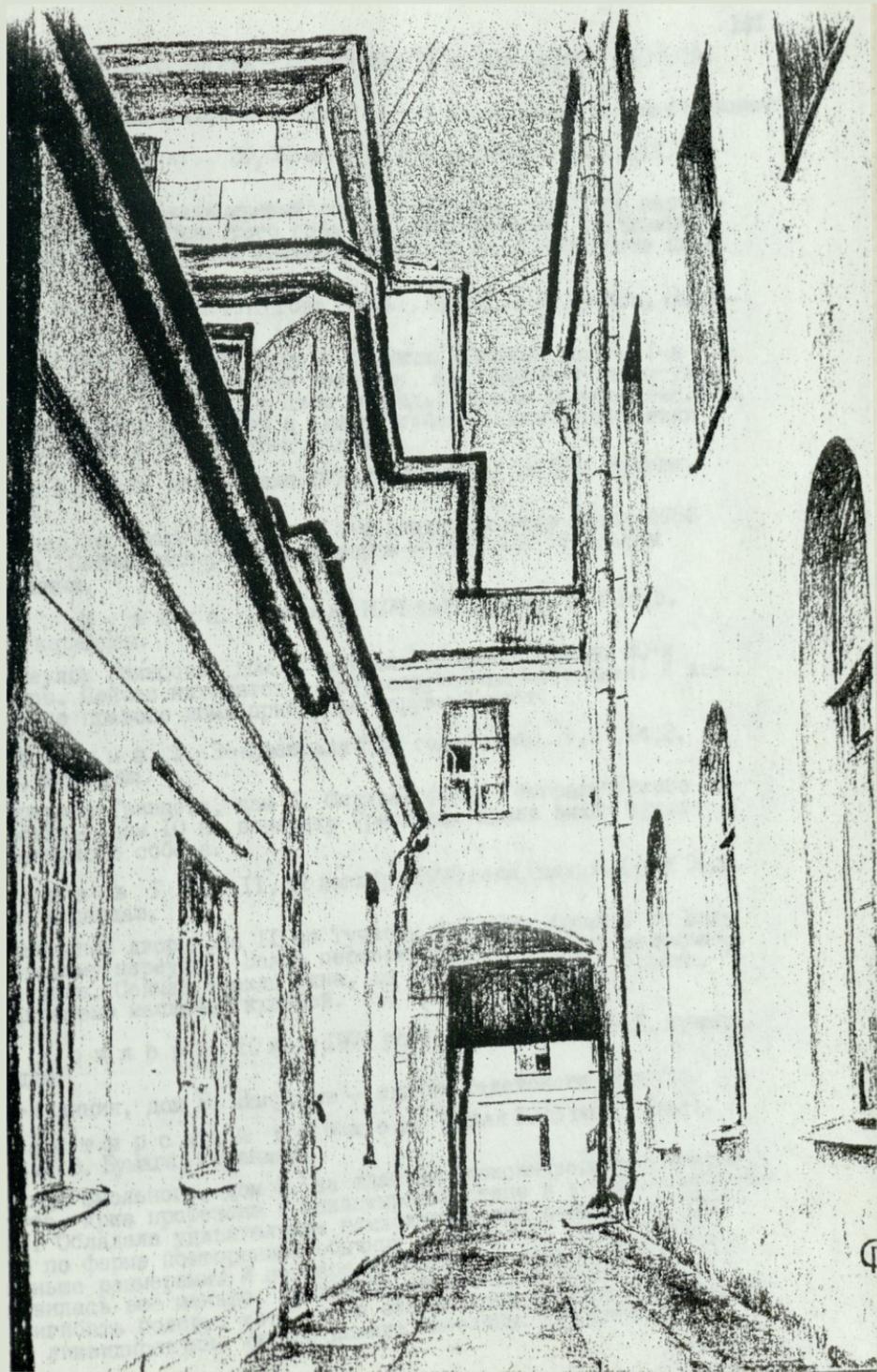














- Н у ж и е о к н а . 29 мая — 23 октября 1976 года (вечер). 13 X 19. Бумага, карандаш.
- 150 Улица Салтыкова-Щедрина, дом 49, 2-й двор. Вид в целом сохранился.
- И ш ё л д о ж д ь . . . 20, 21 июня 1976 года (день). 13 X 18,2. Бумага, карандаш.
- 151 Вид на Князь-Владимирский собор с чердака дома 3 по переулку Нестерова. Июнь того года был необыкновенно дождливым. Сейчас забор и сарай ликвидированы, а участок складов благоустроен.
- а в и л о н . 16 марта 1975 года (день). 12,8 X 16,6. Бумага, карандаш.
- 152 Вид с лестницы дома 29 по 2-й линии. Высокий дом, — 1-я линия, дом 26 — содержит лестницу, изображённую на рисунке кат. № 17, с которой, в свою очередь, сделан рисунок кат. № 2. Вдали: Казанский собор и Адмиралтейство. Мансардный этаж перестроен в начале 80-х годов.
- А в л ю б л ё н . Март — июнь 1976 года (день). 13 X 19. Бумага, карандаш.
- 153 Чёрная лестница дома 26 по 1-й линии. Сгорела около 1980 года. Сейчас заперта арендатором — графиком Рудольфом Яхнинным.
- З и м а . М у з ы к а . 1 февраля 1976 года (утро). 10 X 14,5. Бумага, карандаш.
- 154 Переулок Гривцова, дом 1. Флигель сгорел в начале 80-х годов. Сейчас находится в полуразрушенном состоянии. К лестнице правого дома пристроен наружный лифт.
- Б о л ь з и м ы I . 3—4 февраля 1977 года (день). 9,9 X 14,3. Бумага, карандаш.
- 155 Переулок Гривцова, дом 5. Справа: фасад Географического общества — дом 10 по переулку Гривцова. Вдали виден купол Казанского собора.
- Д о р о г а в Г О И . II, 12 декабря 1978 года (день). 8,6 X 14,2. Бумага, карандаш.
- 156 Проходной двор дома II по Тучкову переулку /дома 5 по Волховскому переулку. Взята перспектива широкого по вертикали угла. Сейчас стекло окна, из которого рисунок сделан, закрашено масляной краской.
- Д о м К р ы л о в а . 10 июля 1976 года (вечер). 13 X 16,3. Бумага, карандаш.
- 157 1-я линия, дом 8. Напротив — здание Кадетского корпуса.
- М о н а с т ы р с к и й п р о х о д . 7 июля 1976 года (утро). 15,2 X 12,3. Бумага, карандаш.
- 158 Улица Смольного, дом 5, за зданием Александровского института. Арка прорезана в монастырской стене и в доме-пристройке. Обладала удивительным психологическим действием: будучи по форме повторением обычных подворотен, она гораздо меньше размерами. И по мере приближения она на глазах становилась всё меньше, заставляя человека, в конце концов, пригибать голову, хотя это и оказывалось лишним. Сейчас кусты ликвидированы, жители домика выселены. Вероятен снос.

23. Этюд с башмаком. 15 июля 1976 года (около 10 часов утра). 13 X 19. Бумага, карандаш.

стр. 159

Двор-колодец "дома с башнями" архитектора Белогруда (площадь Льва Толстого, дом 2. Большой проспект П.С., дом 75/3). Для меня рисунок и дата — эталон вдохновения. Когда после начала 14 июля не помогла вся включённая в формат текстура крыши, я 15-го поёживаясь нарисовал собственный башмак, который легко и уравновесил неожиданно всю композицию. Запомнилась реплика старушек, пивших чай в окошке треугольной мансарды: "Опять сидит!".

28. Молчители. 14 августа 1976 года (утро). 13 X 19. Бумага, карандаш.

стр. 160

Улица Средняя Подъячская, дом 1. Название вызвано замечанием искусствоведа насчёт "искажений перспективы" на рисунке. В арку виден дом 92 по каналу Грибоедова, ныне архитектурно облагороженный.

32. Большой проспект Васильевского острова. 31 октября 1976 года (утро и день к вечеру). 10 X 14. Бумага, карандаш.

Обложка

Вид из выселенного тогда т.н. "Шемякина дома", — Съездовская линия, дом 1. Рисунок сделан в один день, но из-за холода в два прихода. Залезал я туда через подвал. На следующий день выпал первый снег, а затем окна были заколочены. Сейчас дом реконструирован, в результате чего это окно и ещё два, имевшие удлинённые пропорции, были подравнены снизу под стандартные рамы, что сильно нарушило гармонию дома. Разметка проспекта изменена, деревья слева выборочно ликвидированы.

15. Выход. 20 июля 1975 года (утро). 12 X 12,2. Бумага, карандаш.

стр. 3

Набережная реки Мойки, дом 11. В арку видна стена здания Коношен. Было воскресное утро, но почему-то по очереди звенели будильники. Сейчас дом поставлен на капитальный ремонт, т.е. разбиты стёкла, оборваны провода, частично ликвидированы деревья.

3. Итог. 3 марта 1975 года (день). 12,5 X 12,5. Бумага, карандаш.

стр. 64

Волжский переулок, дом 11. Надлесенная площадка интересна отсутствием каких-либо дверей. Однако из окошек открывается вид на Андреевский собор, — рисунок кат. № 4. Сейчас одно окошко заколочено.

34. Бользимы I I. 4—5 февраля 1977 года (утро). 9,8 X 13,7. Бумага, карандаш.

стр. 103

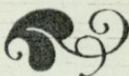
Набережная Макарова, дом 14/16. Руины на переднем плане сейчас ликвидированы.

41. Хенку Самрину, с благодарностью... 5—9 февраля 1980 года (утро). 21,5 X 20. Бумага, карандаш.

стр. 135

Вид на дом 56 по набережной Красного флота с лестницы дома 57 по Красной улице. Рисунок сделан в период визита Хенка Самрина в Ленинград. Статуя в центре над портиком Кваренги, выходящим на Большую Неву, недавно ликвидирована.

Bookstand



Читатель, открывая новую книжку журнала, каждый раз надеется на чудо. Редактор журнала, вскрывая по утрам пакет с редакционной почтой, каждый раз ожидает того же.

Чудеса случаются редко, но всё же случаются. Потом они входят во все хрестоматии. Восторги Белинского и Некрасова над рукописью "Бедных людей" Достоевского, торжествующая радость Твардовского при знакомстве с "Одним днем Ивана Денисовича" Солженицына возбуждают надежду на то, что однажды и с нами случится нечто подобное: на наших глазах и при нашем участии рукопись станет книгой, без которой дальше уже не обойтись.

Появление прозы Бориса Хазанова нам кажется одним из таких чудес. Начиная с Ивана Тургенева, европейцы время от времени добавляют то одно, то другое русское имя в свой культурный обиход. Уникальный российский опыт вложен в европейскую прозу, созданную московским евреем Борисом Хазановым.

Только в России возможна такая широта — от кладбищенского реализма воркутинских лагерей /"Глухой неведомой тайгой", "Взгляни в глаза мои суровые"/ до прибалтийской белесой готики Копенгагена. Только еврей может с такой маниакальной настойчивостью "искать закатившуюся под кровать Родину" /выражение Б.Хазанова/. Ему первому удалось отворить Томасу Манну дверь в русскую литературу. Ещё вчера мы не знали Бориса Хазанова — сегодня трудно понять, как мы без него обходились. Мы горды своей удачей — представить такого автора стране и миру.

Литература — самая агрессивная из профессий. Нет для неё большей радости, чем шагнуть с корабля на страницы неведомого доселе острова и вбить древко флага в его неподатливую, плодородную землю.

/ "Радость открытия" — о прозе Бориса Хазанова — предисловие к первой публикации "Часа короля" в журнале "Время и мы" /

Произведения, распространяемые Тамиздатом, печатаются без ведома их авторов.

ЧАС КОРОЛЯ



Утро следующего дня, мягкое и пасмурное, не было ознаменовано никакими событиями, если не считать того, что тотчас после обычных занятий в кабинете король распорядился принести ему э т у в е щ ь. Он потребовал даже два экземпляра сразу. Секретарь слышал этот приказ и ломал голову над тем, что бы это могло значить. Затем, на половине королевы (Амалия с ужасом следила за этими приготовлениями), Седрик отослал камеристку, попросил оставить все необходимое на столике перед зеркалом. В конце концов он был хирург и старый солдат и вполне мог управиться с нитками сам. Однако он придавал значение тому, чтобы это сделала Амалия: Нужно было поторопиться, ибо близился Час короля, а Седрик не мог позволить себе опоздать хотя бы на минуту.

Он успел переодеться, — как всегда, на нем был зелено-голубой мундир лейб-гвардейского эскадрона, шефом которого он считался; Рыцарскую звезду, однако, пришлось снять, так как инструкция предписывала ношение гексаграммы на той же стороне, то есть слева. И теперь он стоял, терпеливо вытянув руки по швам и задрав подбородок, пока Амалия, едва достававшая ему до плеча последнюю волной своего пышного желто-седого шиньона, возилась с иглой и откусывала зубами нитку, словно какая-нибудь жена почтаря, пришивающая мужу пуговицу перед тем, как отправить его на работу. Но оба они, в конце концов, походили на пожилую провинциальную чету и ни на кого более. По его указанию она пришила и себе. Произошло некоторое замешательство, почти смятение немолодой дамы, вынужденной совлечь с себя платье в присутствии мужчины. Закатился под стол наперсток. Словом, на все ушла уйма времени.

А затем некий молотобоец начал на башне бить медной кувалдой в медную доску. Двенадцать ударов. И что-то перевернулось в старом механизме, и куранты принялись торжественно

и гнусаво вызванивать гимн. Часовой в костюме, воскрешающем времена д'Артаньяна, почтительно отворил ворота. По аллее шел Седрик, длинный как жердь, ведя под руку торопливо семенящую Амалию. Происходило неслыханное нарушение традиций, ибо конь рыцаря тщетно гневался, бия копытом в прохладном сумраке своего стойла. Король отправился в путь пешком.

Прохожие остолбенело взирали на это явление, впервые видя короля не в седле и об руку с супругой, но главным образом были скандализированы неожиданной и ни с чем не сообразной подробностью, украшавшей костюмы шествующей августейшей четы. Перед тем как свернуть на бульвар, навстречу идущим попался низкорослый подслеповатый человек, он брел, клейменный тем же знаком. На него старались не обращать внимания, как не принято смотреть на калеку или на урода с обезображенным лицом; зато с тем большей неотвратимостью, точно загнипнотизированные, взоры всех приковались к большой желтой шестиугольной звезде на груди у Седрика X и маленькой звезде на выходном платье королевы. Эта звезда казалась сумасшедшим видением, фантастическим символом зла; невозможно было поверить в ее реальность, и непонятен был в первую минуту ее смысл. Иные решили, что старый король рехнулся. Приказ имперского комиссара чернел на тумбах театральных афиш и на углах домов.

Закреть глаза. Немедленно отвернуться. А эти двое все шли...

Родители уводили детей.

Нет сомнения, что в эту минуту в канцелярии ортскомиссара уже дребезжал тревожный телефон. Оттуда неслыханное известие понеслось по проводам дальше и выше, в мистические недра власти. Было непонятно, как надлежит реагировать на случившееся.

В это время выглянуло солнце, слабый луч его просочился сквозь серую вату облаков, заблестели мокрые сучья лип на бульваре. Ярко заблестела мостовая... Быть может, читатель замечал, как иногда атмосферические явления неожиданно решают трудные психологические проблемы. Вдруг все стало просто и весело, как вид этих двух стариков. Король все чаще приподнимал каскетку, отвечая кому-то; Амалия кивала тусклым колоколом волос, улыбалась засушенной улыбкой. Король искал

глазами библиотекаря. Библиотекаря нигде не было.

Король со стариковской галантностью коснулся пальцами козырька в ответ на поклон дамы, которая быстро шла, держа за руку ребенка. У обоих на груди желтели звезды, это можно было считать редким совпадением: согласно церковной статистике в городе проживало не более полутора тысяч лиц, имеющих право на этот знак.

Далее он заметил, что число прохожих с шестиугольником становилось как будто больше. Седрик покосился на Амалию, семенившую рядом, — на каждый шаг его приходилось три шажка ее величества. Амалия поджала губы, ее лицо приняло необыкновенно чопорное выражение. Похоже было, что эти полторы тысячи точно стоворились выйти встречать их; эти отверженные, отлученные от человечества вылезли на свет божий из своих нор, вместе с ним они маршировали по городу, разгуливали по улицам без всякой цели, просто для того, чтобы показать, что они все еще живут на свете! Однако их было как-то уж слишком много. Их становилось все больше. Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты. На Санкт-Андреас маргт, напротив бульвара, стоял полицейский регулировщик, держа в вытянутой руке полосатый жезл. Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире ярко выделялась канареечная звезда. И он был из этих полутора тысяч! Итак, статистика была посрамлена, либо приходилось допустить, что его подданные приписали себя сразу к двум национальностям, а это, собственно, и не означало ничего другого, как только то, что статистика потерпела крах.

Королева устала от долгого пути, король был тоже утомлен, главным образом необходимостью сдерживать чувства, характеризовать которые было бы затруднительно; во всяком случае, он давно не испытывал ничего похожего. Ибо это был счастливый день, счастливый конец, каковым мы и завершим нашу повесть о короле. По дороге домой Седрик воздержался от обсуждения всего увиденного, полагая, что комментарии по этому поводу преждевременны или, напротив, запоздали.

Он обратил внимание Амалии лишь на то, что липы рано облетели в этом году. Они благополучно пересекли мост, ведущий на Остров, и обогнули дворцовую площадь. Мушкетер, опоясанный шпагой, с желтой звездой на груди, распахнул перед ними кованые ворота.



Редакция: Алексей Гурьянов

А. Турин
/ответственный редактор номера/,
Александр Новаковский,
Дмитрий Синочкин.

Художник Сергей Горлов

По вопросам подписки обращаться:

195197 Ленинград,
пр. Металлистов, 113 - 20,
Новаковскому А.Е.
/тел. 213-52-08/

195253 Ленинград,
ул. Тухачевского, 5 - 4 - 2,
Гурьянову А.Ю.
/тел. 310-45-75/

